

# ВРЕМЯ ИДЕИ 30 1978



*В ЭТОМ НОМЕРЕ:*

- НОСТАЛЬГИЧЕСКАЯ БАЛЛАДА
- ПСИХОАНАЛИЗ ИЗРАИЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА
- ИСТОКИ БОЛЬШЕВИЗМА
- ПАМЯТИ ЮРИЯ ДОМБРОВСКОГО
- КРОВАВАЯ НОЧЬ В ТБИЛИСИ



*Марина Глазова*  
Безутешные воды внешние

*Ефим Эткинд*  
Леонид Брежнев как писатель

*Евгений Цветков*  
Хранитель Древностей

*Фаина Баазова*  
Танки против детей

*Дора Штурман*  
Любовь без взаимности

*Виктор Перельман*  
Банка Джорджес



# ВРЕМЯ И МЫ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ  
ЖУРНАЛ  
ЛИТЕРАТУРЫ  
И ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ПРОБЛЕМ

*Четвертый год издания*

Выходит один раз в месяц

---

**30**  
**1978**

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ"  
1978

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ФАИНА БААЗОВА	МИХАИЛ ЛЕДЕР
ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА	ДМИТРИЙ СЕГАЛ
ЕГОШУА А. ГИЛЬБОА	ЙОСЕФ ТЕКОА
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	ДОРА ШТУРМАН
МИХАИЛ КАЛИК	ААРОН ЯАРИВ
ГАЛИНА КЕЛЛЕРМАН	

Представители журнала:

Англия	Александр Штротас Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick, Brighouse W. Yorkshire HD6 3PZ ENGLAND.
Западный Берлин	Лотар Ролл Buschkrugallee 98, 1000 Berlin 47, t. 606-77-61
Канада	Юрий Лурьи 305 Robson Hall Winnipeg, Manitoba Canada R3t 2N2 t. (2,04) 474 9773
США	Эдуард Штейн 7 Miles Ave, Woodbridge, Conn. 06525 t. (203) 387-05-97 USA
Франция	Ричард Кернер 24, rue Lecluse, 75017 Paris 17e, t. 292 12-61
ФРГ	Арий Вернер Postfach 50 1968 5000 KoeIn. 50 West Germany

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

*Михаил МОРГУЛИС*  
Уйти в дождь . . . . . 5  
*Виктор ПЕРЕЛЬМАН*  
Банка Джорджес. . . . . 19  
*Лев МЕЛАМИД*  
Ностальгическая баллада. . . . . 46

ПОЭЗИЯ

*О. ОХАПКИН*  
В бронзовом нашем веке . . . . . 64  
*Алексей ЦВЕТКОВ*  
В этом Риме я не был Катонем . . . . . 72  
*Марина ГЛАЗОВА*  
Безутешные воды вешние. . . . . 78

ПУБЛИЦИСТИКА, ИСТОРИЯ, КРИТИКА

*Ингебор ФЛЕЙШХАУЭР*  
Двойная лояльность. . . . . 81  
*Дора ШТУРМАН*  
Любовь без взаимности. . . . . 92  
*Евгений ЦВЕТКОВ*  
Хранитель Древностей. . . . . 114  
*Ефим ЭТКИНД*  
Леонид Брежнев как писатель. . . . . 126

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

*Лев ЛАРСКИЙ*  
"Здравствуй, страна героев!". . . . . 142  
*Фаина БААЗОВА*  
Танки против детей. . . . . 189

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Лев Сыркин в Москве и в Израиле. . . . . 206  
Коротко об авторах . . . . . 217



Михаил МОРГУЛИС

Моему золотому другу — Татьяне Николвевне.

## УЙТИ В ДОЖДЬ...

Улица в своей беззащитности от дождя казалась раскрытой книгой, казалась плоской и неподвижной. А дождь шел крупный. Будто всадник на огромном вороном коне скакал, а из-под копыт у него летели комья грязи. Много комьев, беспрерывно вылетающих из-под копыт. А может, не всадник, а просто мальчик играет верхом на палочке? Но улица пустынна, длинна и безлюдна, и по ней может скакать только огромный, вороной конь.

Я немного выпила, и поэтому мне в голову лезли такие сравнения. Я чуть-чуть пьяная, но, конечно, не настолько, чтобы мокнуть под дождем. На другой стороне улицы старушечьим коричневым ртом зияло парадное. Оно казалось милым, добрым старушечьим ртом, как у моей первой, самой первой учительницы с очень русским именем — Мария Ивановна, — и я решила переждать в нем дождь. Лицо и волосы я прикрывала "Литературной газетой". Она уже намочилась, стала желтой и противной, и я ее отшвырнула. А потом подтянула юбку, зачем я это сделала, не знаю — юбка ведь

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

© "Время и Мы"

короткая, видно, это из тех постоянных женских движений... ну, как при виде мужчины поправляют волосы. А потом я побежала к парадному. Всадник неистовствовал вовсю. Он пустил коня галопом, обрушивая на меня комья земли из-под копыт и, кажется, хлестал меня еще сверху кнутом. И я бежала, увертываясь от копыт коня и его кнута.

Я с размаху влетела в парадное и сразу удивилась. Несмотря на дождь, в парадном никого не было. Обычно в дождь в такие парадные набивается по десять человек, и все они с непонятно-веселыми лицами встречают каждого промокшего и забежавшего к ним. И чем больше промок человек, тем больше веселости у них в глазах. Как будто после смешного анекдота. А может, это действительно смешно... А сейчас я стояла одна, совсем одна, один на один с парадным, и парадное показалось мне гулким и тревожным. И мне тоже сразу стало гулко и тревожно. Я смотрела на мелькавшую в воздухе воду, старалась различить капли в отдельности. А дождь уже обволакивал меня, и я уже стояла в дождевом мире, мир был необъятный и весь состоял из дождя, и я стояла в нем, прикрытая каким-то выступом моей фантазии, и поэтому дождь не падал на меня. Но, видя это, я все равно продолжала чувствовать, что мне по-прежнему тоже гулко и тревожно и что виновато в этом парадное. И тогда я резко вышла и посмотрела парадному прямо в коричневые глаза, но не выдержала их взгляда. Потому что оно сказало мне: "Не лги. Кто поверит, что ты попала на эту улицу случайно и случайно вошла ко мне, когда рядом десяток других парадных. Не лги, мы хорошо помним друг друга".

Все было правильно, и я разглядывала стены парадного, как рассматривают морщины у близкого человека после его долгого отсутствия. А одна старая морщина просто боль вызвала, так она мне хорошо вспомнилась. Этой морщиной была надпись в самом верхнем левом углу парадного. Потолок был испачкан копотью от бросаемых вверх спичек, а чуть ниже было написано "Я люблю Веру". Я чувствовала, что это писал мальчик лет четырнадцати, и еще тогда, в первый раз, я подумала, что написал он это так высоко, чтобы

другие ребята не зачеркивали его слова и не приписывали взамен ругательства. Нет, этого мальчика никто не поймет, кроме меня. Ведь написанная им фраза, это вековая и ставшая давно банальной фраза. Но только я угадывала за ней его ласковые слова, и я чувствовала, что учился он хорошо, и я видела, как он стоит на принесенной лестнице и воровато выводит слова о своей любви, и только я, одна только я знала, что он никогда не скажет эти слова девочке, которую любит, или, может быть, женщине. Это я знала точно и не знала, почему.

Теперь, когда я хоть немного привела свои мысли в порядок и разложила их, как аккуратная хозяйка, по полочкам, я решила мысленно подниматься вверх по лестнице. Но, видно, я была не очень хорошей хозяйкой, и мои мысли часто соскакивали с полок, падали со звоном на пол, закатывались в разные углы и все время путались между собой. Но я уже поднималась мысленно вверх, трогала руками отполированные перила, перила, которые трогали до меня тысячи рук, руки, живые до сих пор, и руки, которых уже нет. И когда-то их трогали и мои руки. И когда я уже стояла перед дверью, я вспомнила, что вначале нужно прийти не сюда. И тогда я пришла в ту квартиру, где собрались инженеры, очень чистые и очень умные, как будто сделанные на экспорт. И вначале все были одинаково умные и чистые, а потом я увидела, что он не такой чистый и не такой умный. Тоже умный и чистый, но по-другому, как автомобили разных марок. Одних автомобилей много, они стоят в ряд, лакированные и блестящие, только что выпущенные с конвейера. А рядом другой, самоделка, чистый, но не блестящий, немного неуклюжий, но зато надежный, потому что каждую гаечку шофер закручивал сам. А когда те, вроде бы невзначай, подставляют солнцу лакированные крылья, в его фарах зажигается еле-еле видная незлая насмешка, он-то знает, что их сделали за несколько минут, а его делали долгими месяцами, и не раз водитель чертыхаясь разбивал пальцы о жесткие самодельные детали. И снова в фарах промелькнет незлая насмешка, а может, это просто отражаются в них играющие ря-

дом веселые ребяташки. И потом, когда я это поняла, помню, мне стало намного легче. Так, как в канцелярской комнате, куда вдруг неожиданно ворвался случайный ветер. И окна хлопают, а растерянные сотрудники не знают, что делать раньше — ловить бумаги или бежать закрывать окна.

Я ходила по комнатам и танцевала, но не с ним, и все время слышала, как кровь моя жаркими молоточками выступивала ему письма:

— Я кровь, я зову твою кровь, и пусть станет она мне близкой, как бывают близкими встречные южные ветры, когда встречаются, и, покружившись, они улетают дальше одним ветром.

И во мне тысячи кровяных шариков с открытыми безмолвными ртами безмолвно кричали ему, и, если бы в комнате был какой-то прибор, он бы обнаружил этот крик. И крутилась в воздухе квартира, попадая под ноги полом, как застрявшая на одном месте пластинка, поющая одни и те же слова; и живу я в старинной избе, только с образов соскользнули его тонкие руки, в которых провисла усталость. И мне показалось тогда, что любовь приходит не от слов, а от ощущений.

А он оставался один в светлой комнате, а все танцевали в другой комнате, где выключен был свет. А когда я пришла к нему, он вдруг сказал мне какие-то слова, и мне хотелось побежать в ванну и чистить зубы "Детским порошком", долго чистить, и просто мыться, и стереть тушь с глаз, потому что слова, которые он мне сказал, были светлые и звонкие, как первая сосулька; и я боялась, чтоб они не запачкались об меня. Я их никогда не вспоминала потом и не хотела вспоминать, но я всегда помнила, что были они белые-белые, как редко бывающие в продаже листы белоснежной бумаги, которые стоят в магазине дороже других листов. И я видела, что нравлюсь ему, но сказал он их не для того, чтобы и он мне понравился, а для того, чтобы я ему еще больше понравилась. Немного после, когда он говорил мне похожие слова, они были для меня уже не белыми листами, а бумажными корабликами, плывущими ко мне с крошечными Колумбами

на борту. А тогда, в той квартире, он еще вылепил из хлеба смешного котенка, вставил ему вместо ног и хвоста спички и сказал: "Закон Бытия Вселенной. Где-то на другой планете ушел из жизни этот юный кот, а вот я у нас воссоздал его образ, и Бытие его продолжается". И он рассмеялся, да так, как я от него не ожидала. Он очень смешно и тихо смеялся. А потом он сказал: "Сейчас ваши губы начнут искать по всей квартире, и мне придется туго". И тогда мы ушли.

А теперь я могу снова прийти в то парадное, где я сейчас стою, и снова мысленно подняться на второй этаж.

— Куришь?

— Вначале модно, а потом привыкаешь...

— Ах, как хорошо, что ты куришь, теперь мы сможем кашлять вместе...

А совсем он оказался не инженером. Я ужасно удивилась, когда узнала, кто он. Я вообще не знала, что есть такая работа. Он писал всякие рассказы смешные для артистов, которые выступают с эстрады, и для клоунов в цирке. Ночами он ходил по комнате, натыкался на стулья, бурчал, что-то свое придумывал. Потом закуривал и затихал где-нибудь. А я тихонько посапывала, чтобы он не узнал, что я не сплю. А иногда я неожиданно спрашивала его о чем-то.

— Ты почему Слепцова не любишь... Он умный...

— А что дает болтуну ум! Красивее болтает!

— Он перспективный, способный архитектор... Так все говорят...

— Пошел он... Ох, если б ты только знала, как мало значит быть только способным и талантливым и даже гением. Это так мало значит, если человек не делает ничего по-настоящему полезного... Мне жалко, жалко каждого прожитого ими дня. А я скряга, мне жалко... И должен тебе сказать по настоящей правде, что мы все слепцовы. Мы все не делаем ничего по-настоящему полезного. Наши волосатые руки опутаны радостью жизни, сплетенной из веревок. Мы все можем превращаться. Сегодня мы — свиньи, которые поедают своих детей, свою страну, а завтра мы — поросята, которых поедает она, наша страна...

Я лежала молча. Еще ночью у него можно было что-то узнать, а днем ничего нельзя было понять. По-моему, он стеснялся прямых и понятных фраз.

Все шуточки, да полные карманы разных стеклышек, железок... Он сам говорил, что некоторые считают его "с приветом". Когда он злой, то все равно шутит, только так, что может обидеть. Когда-то он пришел и стал проклинать полмира, смеялся над ним, издевался над разными лгунами и подлецами, а когда я спросила его: "Чего ты хочешь от мира?!", он схватил пустой стакан и прогудел в него: "Снижения цен на портвейн!" Да, он точно был немного ненормальный. Но только это не мешало ему посылать письма и деньги одинокой старухе-соседке. А на переводах, которые его знакомые актеры бросали в разных городах страны, он подписывался "Фонд бывшего князя Потемкина" Старуха ничего не могла понять, ходила к нему за разъяснениями, а он объяснял, что раздают хорошим людям наследство Потемкина и что ей повезло — включили в список хороших людей.

Я сразу поняла: он страшно боится, что эту и другие его шуточки примут за сладенькую благотворительность, и, глядя в такие минуты на его злое молчание, я внушала всем — это шутка, он просто любит пошутить. Все охотно верили, в наше время всегда больше понятна шутка, чем помощь.

Да, я забыла, он скоро после нашей самой первой встречи принес настоящего маленького котенка, и тот стал у него жить. А назвал его по-собачьи — Рекс.

— Ах ты моя шикарная собака, — говорил он ему.

А однажды он отвез меня далеко вниз по реке. Мы плыли в лодке действительно долго и вдруг свернули и вплыли в спящую тишину маленькой речушки, впадающей в большую реку. Она лежала, как маленькая щучка, только что вытянутая из воды, и тяжело дышала, это волны от нашей лодки далеко ушли по ее спокойной воде-чешуе. Никого не было, только зеленые кусты, испуганные нашим появлением, тесно прижавшись друг к другу, настороженно смотрели на нас. Мы лежали на песке и видели песок, а когда лежишь на песке и смотришь на него, он кажется намного больше живым.

Песок был флегматичным, желтым человеком и лишь иногда шарахался от ветра, как от нечистоплотного прикосновения.

— Ты будешь единственным человеком, которого я пушу на суд, — и он привел меня на поляну, которая была, как большое зеленое блюдце в саду. Он держал в руке хлыст. А на поляне стояла воткнутая в песок маленькая ветка, а рядом камень, бугорок из песка, еще один камень, комок старой газеты, размокший сук. — Я представляю вам этих проживающих, оглашу меру наказания и сам приведу ее в исполнение... — В это время рядом чирикнула какая-то птичка. Он повернулся на звук и, подражая многим, крикнул: "обойдусь без адвокатов!" — Итак, продолжаем.— Вот он ткнул хлыстом в бугор.— Этот, проживающий очень давно, пять лет притаившись ждал, пока затихнет канонада. Утром, по первому снежку, он воровато притопывал в пункт назначения и выхаркивал сипя: — У 82-ом, кажись, скрывают мальчишку, юду обрезанного... Я нюхом их чую. Так я пошел, панэ полицай, мне еще на базар за махоркой. — Ему не снятся по ночам фронтовые друзья, ему не снятся детские глаза за мгновение до расстрела... Именем Человечества, именем всех бомб мира — приговаривается к разрушению. — И он растоптал бугор. Потом наступил ногой на камень. — Следующий проживающий, слепой фанатик с добрыми глазами, творящий зло. Именем Человечества, именем блокадного Ленинграда — приговаривается к закапыванию. — И он закопал камень. Потом резко нагнулся и поднял второй камень. — Следующий... Лгун, подлец, карьерист... Именем Человечества, именем народных сказов, именем барона Мюнхаузена-приговаривается к утоплению. — И он выбросил камень в воду. — Следующий... Бесхозяйственник, придурок, командующий культурой... Именем Человечества, именем всех чудаков мира, именем Аркадия Райкина приговаривается к повешению. — И он забросил сук на ветви деревьев.

В кулаке, как змейку, он уже держал веточку. — Следующий проживающий... Меняющая свою любовь на вещи, отдающая свою любовь за деньги... Именем Человечества, именем ждущих вдов приговаривается на гильотину. — И он пополам

сломал ветку. В руках у него появился комок газеты. — А это кто же? Ба, знакомые все рожи... Групповой портрет и я там. Коллеги-стихоплеты и прозоплеты с блудливым пером в заднице, людоеды человеческих душ, продажные цезари и глупые солодари. Именем Человечества, именем убитого Пушкина и задушенного Мандельштама все мы приговариваемся к сжиганию. — И он поджег комок газеты.

Он нагнулся, захватил в пригоршню песок и задумался:

— А что с вами делать, проживающие-доживающие, убийцы миллионов людей и сотен поэтов. Я знаю — вас развеет ветер! — Он подбросил песок вверх и ужасно крикнул: "Их развеет ветер!"

— Следующее заседание суда состоится после дождика в четверг. А сейчас я попрошу славный коллектив судебного зала подойти ко мне и именем всех погибших в пустынях напоить меня живой водой ваших глаз. — И он стоял и ждал покачиваясь, пока я подойду к нему.

В тот день мы еще были с ним в ресторане. Он не умел танцевать, а я танцевала со всеми его друзьями, а он глядел на нас довольно, с пьяной улыбкой и грустной удалью в глазах. А иногда он смотрел на огромную горящую люстру, и мне тогда казалось, что он глазами хочет ее погасить. Когда все снова собрались за столом и чокались бокалами, он сказал:

**Я спросил у слесаря Петрова,  
Отчего на шее твоей провод?  
А он молчит, и мне не отвечает,  
Только тихо ботами качает...**

Все ужасно смеялись и оглядывались.

— Не бойтесь, — сказал он, — я теперь расскажу, что я увидел в зоопарке...

**У бегемота грустные глаза,  
Как будто в них всегда живет слеза.  
Когда немые письма в них читал,  
Исаака Бабея глаза я в них узнал.**

— А теперь убейте меня не очень больно за то, что я не поэт...

А ночью, когда мы пришли домой, он растоптал свой галстук. Он топтал его ногами и шептал мне: "Милая моя..., ты

никогда не сможешь узнать этого... Потому что тебя зовут Наташа Скворцова, и ты состоишь из безударных гласных. А мы состоим из ударных согласных. Мы всегда состоим из ударных согласных. Мы всегда состоим из двух больноударных согласных и одной кричащей гласной. Слышишь, это такое клоунское слово "жид", слышишь, ау, "жд" — это больноударные звуки, "и", "и-ии", — это так кричат раненые птицы, падая крючковатыми клювами в зовущую их воду озер..."

Но тут он замолчал, потому что увидел, что я лишилась сил и сейчас упаду. И тогда он обнял меня, и слезы наши зачали будущее, и так мы заснули.

А потом снова шли дни и ночи, разные сутки, сутки — северное сияние, сутки — черный турецкий кофе, сутки — набухающие почки, сутки — каштаны, падающие в сентябре, — стук-стук по асфальту, сутки — суматошное вокзальное ожидание, сутки — гроыхнувшие составы скорых поездов. Он по-прежнему бурчал ночами у столика, черкал и кривлялся в темноте. А однажды я спросила вслух:

— А что, я буду плохой женой...

— Нет, ты будешь хорошей женой, но только через год. Моя работа и так ревнует тебя, она однолюбка, но через год я вас помирю. Ты не спишь?

— Нет еще...

— Я должен написать пьесу, настоящую большую пьесу. Смешную и о любви... Ты не спишь?

— Нет еще...

— Я должен написать настоящую пьесу... Смешную и о любви... А моя работа однолюбка, страшная однолюбка... Ты что, уже спишь?

— Да, уже... Ты сон отогнал. Куда он ушел на ночь глядя?

И, когда он уже спал, я сказала ему. И сказала я ему:

— Миленький! Миленький мой, да я ведь все понимаю. Да я ведь понимаю, что у тебя тоска не галстуком на шее завязывается, а петлей. Родненький, да я ведь иногда совсем все понимаю. Я ведь понимаю, когда траву засыпает жирными пластами земля из-под копыт трактора. И из-за жизни пакост-



ной зарастают стежки-дорожки, протоптанные от одного сердца к другому. Ты, как солдат, который сдается, а потом всю жизнь сердце свое сам на ремни режет, думая, а зачем же я такое сделал! Ведь надо было ахнуть гранатой рядышком. Ну да, не осталось бы леса, солнца, любимого лица. Ну, а что бы осталось? А? Что бы, кстати, осталось? Я не знаю. Хоть бы маленькую записку кто написал оттуда, что же все-таки остается! Любовь моя твои раны не лечит, но ведь и солью не посыпает. Значит, не могу я тебе помогать, не могу лечить тебя, а я не хочу такого, а потому прощай.

\* \* \*

Мама всегда в чем-то права. Да и тошно одной, дни и ночи — сутки, сутки — бесконечная лента асфальта.

— Мама, не приглашай много на свадьбу... Хватит одних родственников... Ведь у Володи через месяц защита... как это слово... диссертация. Да, да, все будет хорошо, мамочка. И только теплый дождь воспоминаний поможет мне. Мама, хочешь, я тебе песенку спою...

**Как ушли однажды ночью  
Все солдатухи в поход,  
А за пазухой капрала  
Думу думал красный кот. Вот.**

— Ну что ты? Разве глупых ученые в жены берут... Дни и ночи — сутки, сутки — остановился мой автомобиль у бензозаправки, а заправщик куда-то ушел.

Выскочила из дождя молния, как морковка, и сразу хрустнул ею гром и громыхнул упавшей кастрюлей. Это прервало мои мысли, и я вновь увидела перед собой дождь, и город, и парадное. И теперь я могу по-настоящему подняться по лестнице и позвонить в эту старую дверь.

— А я к тебе, потому что у вас в доме громоотвод...

А он стоит, с котом в руках, в стареньком сером свитере... Я его часто одевала после холода, он пахнул им. А котенок-то как вырос...

— Рекс, ко мне... Не смотри так, я ведь тебе не очень чужая...

И комната его такая же, лишь что-то прибавилось в ней, не пойму что. Только что же это я, что же это я... Кот-то, как вырос...

— О дожде говорить не будем, дай мне лучше сигарету покурить, я давно не курила, у мужа это вызывает плохие ассоциации... Голова кружится с непривычки... Как маятник раскачивается, и дым шаманский какой-то, нет, это просто с непривычки...

— А я собираюсь есть десерт... Хочешь?

— Да, хочу...

Он деревянной расписной ложкой вынимал варенье из банки и горками клал его на хлеб.

— Это моя ложка, — сказала я, как в детстве говорила — это моя битка.

— Я купил ее на аукционе, может быть, до этого она была твоя... Но я могу подарить ее тебе. Слушай, а что если мы пойдем на черный ход?

Это чудно, есть хлеб с вареньем на лестнице черного хода. Я именно так любила в детстве есть хлеб, а маме это не нравилось, это считалось дурным тоном.

От дождя убежали сюда разные мухи и жуки. Мы сидели на подоконнике. Одна муха ползала по стеклу, как травокосилка с заведенным мотором. А по подоконнику полз маленький круглый жучок. Он капнул перед ним варенье. Жучок остановился, подумал, а потом решительно вошел в каплю. "Вот невоспитанный, — улыбнулся он сам себе, — с ногами влез". И я почувствовала, что ему стало немножко веселей от того, что он подглядел смешной кусочек чьей-то жизни. И не важно, что не человека. У каждого есть своя жизнь.

— Ну, как твоя пьеса?

— Написал... — он тронул двумя крайними пальцами руки свои глаза.

— Переведена уже на все языки мира? О'Нил и Тенниси Уильямс прислали поздравления? Пьеса столетия — Смешная и о Любви!

— Она совсем не получилась...

Я смотрела в окно. Там маленькими силуэтами скользили дети, предчувствуя конец дождя.

— Мне очень жаль, что она не получилась...

— Нет, нет... Я очень доволен, что не получилась эта плохая, эта задушенная также и самим автором пьеса. Этот проклятый черный человек, который заведует самоконтролем в моей голове, ошибся. Он не учел некоторых объективных, необъективных и просто паспортных данных. Но это прекрасно. Но это даже прекрасно, что не восторжествовало мое авторское тщеславие, и я снова могу ходить в старых вещах. И слава Богу, что у меня снова нет денег на парадные костюмы.

Вдруг на мгновение пропал цокот дождя, и стало так тихо, что я даже не знаю как. Я смотрела, как он прислонил затылок и макушку к стеклу окна и закрыл глаза.

— Помнишь тот лес, куда мы с тобой приезжали, Мне говорили, что в глубине его растут громадные сосны. Я мог бы взять фотоаппарат и сделать много привычных снимков. Но я решил, что лучше их нарисую, это труднее, но зато честнее. Я отказался от проводника, боялся, что он будет отвлекать разговорами, не подумал, что он может показать на не замеченную мной тропинку. Начало смеркаться, я испугался, что сам не найду дорогу обратно. И главное! Среди деревьев висела табличка: "Писателям дальше проход запрещен! Запомните, дальше не будет выхода!" Тогда я установил треножник и стал рисовать то, что разрешено, правда, довольно милую сосну. А к концу работы я увидел, что она гнилая. Но было уже поздно. Она и на картине получилась такой, обыкновенной, довольно милой, но внутри гнилой. А ведь я всю жизнь мечтаю рисовать другие сосны... Он открыл глаза и смотрел на меня, а в них еще продолжали рваться к небу не нарисованные им сосны. А потом он посмотрел на свое отражение в стекле оконной рамы, посмотрел, как смотрят на клоуна в цирке, — с улыбкой, но немного жалея, а может, как клоун на зрителей, — с улыбкой, но немного грустно.

— Ну, а что хотела нарисовать ты?

Я мотнула головой и закрыла глаза: "Я не умею рисовать. Но зато я очень любила мальчика в повести Селинджера. Помнишь, он хотел, став взрослым, стоять на краю обрыва

и оберегать играющих в поле среди ржи ребятишек. Но однажды я подумала, что он все это себе придумал, что нет никакого обрыва, а значит, и некого охранять... А сейчас я знаю, что он говорил правду..."

В это время на улице что-то ухнуло. Мы вместе посмотрели в окно. А это всадник на огромном вороном коне пустился наутек с улицы, а дети бежали вслед, улюлюкая и спотыкаясь об остатки дождя и о свою радость. И последний раз испуганное ржание его коня прогремело дальним громом и вонзилось в окна, как шпоры, маленькие, смешные сиреневые радуги и трепыхали, как только что родившиеся бабочки.

## В САРГАССОВОМ МОРЕ

В этом номере вниманию читателей предлагается два отрывка из моих океанических заметок, которые я вел день за днем во время плавания с мурманскими рыбаками в Западной Атлантике. Первый отрывок — из моего собственного дневника, второй — из дневника матроса, фамилию которого я, разумеется, изменил.

Кстати, уже после моего возвращения на берег, сами эти заметки проделали такой же, если не более долгий путь, чем их автор... по редакциям московских толстых журналов. Были они в "Знамени", были в "Неве" и "Юности". Кажется, впервые в жизни, я писал только о том, что видел, а приходившие из этих журналов отзывы неизменно уведомляли, что я чего-то важного не доглядел, что-то не почувствовал, что-то исказил. Так и не была напечатана в Союзе ни одна страница этих дневников. А потом я и вовсе забыл о них. И лишь недавно, наткнувшись на них снова, подумал: а многим ли здесь, на Западе, известно об этой жизни, такой, как она есть, без идиотских легенд и романтики, без выдуманных в профсоюзных канцеляриях тружеников моря.

Разумеется, в каком-то смысле это совершенно иной мир, отброшенный к Восточным берегам Америки, в Саргассово море, где когда-то промышлял хемингуэвский старик-саляо. Однако, люди везде есть люди и, вопреки Анахарсису, писавшему, что они бывают трех родов — те, кто живы, те, кто мертвы и те, кто плавают в море, я осмелюсь утверждать, что в море те же люди, что и на суше, разве только более открыты, более обнажены и, может быть, поэтому более естественны. Вот эту обнаженность, эту естественность я в меру своих сил и пытался сохранить — ни широты показа, ни глубины характеров, а только несколько зарисовок, несколько случайных встреч на Банке Джорджес, в Западной Атлантике.

*Виктор ПЕРЕЛЬМАН*



*Виктор ПЕРЕЛЬМАН*

## БАНКА ДЖОРДЖЕС

СУДОВАЯ

(из записок мореплавателя)

— Послушайте, Виктор Борисович, чудный анекдот. Устроили в Одессе конкурс на лучший трактат о слонах. Первым принес англичанин "Слоны и их роль в Британской Империи"...

— Александр Романович, знаете, за что Каин убил Авеля?

— За что, милый?

— За старые анекдоты.

Мой собеседник, флагман Александр Романович Сойкес, смеется. И, пытаясь спрятаться от солнца, натягивает на глаза соломенную шляпу.

Температура воздуха плюс 42 градуса по Цельсию. Из-за палящего солнца и влаги на палубе невозможно находиться. Уже к полудню все на тебе становится взмокшим — майка, рубаха, шорты, и во всем этом ты словно погружаешься в препротивнейшую ванну, из которой до самых сумерек не можешь выбраться.

В такие часы хочешь-не хочешь, а иди загорать на вертолетную площадку. Поддавшись всеобщему сумасшествию, я уже битый час пекусь на солнце. Лежу, уставившись глазами в небо, в жидкие, клочковатые облачка, которые медленно плывут над морем.

Чувствую, как начинают обгорать плечи, но все равно пекусь. После двадцати дней штормов и туманов палящее солнце Джорджес приносит ни с чем не сравнимое блаженство.

Я открываю глаза, смотрю на белые клочковатые облачка и все еще не могу поверить в то, что я действительно нахожусь в самой западной части Атлантики, примерно в ста пятидесяти милях от Нью-Йорка. Это последнее кажется настолько нереальным, что я приподнимаюсь и оглядываю окружающий пейзаж.

Кто-то мне говорил, что у рыбаков принято вываливать на палубу все крупнейшее и разношерстное содержимое трюмов и твиндеков. Хоть и не очень эстетично, зато все под руками. То, что я вижу на "А. Хлобыстове", по-моему, не способна примыслить самая буйная фантазия: сотни в беспорядке разбросанных по палубам и загромодивших проходы кадушек из-под сельди, кучи рваных брикетов, напоминающие склады утиль-сырья, траловые сети, тросы, ящики, развешанные во все концы веревки с бельем. На каждом свободном метре смоляные тела загорающих и рядом идущая полным ходом разделка омаров. И тут же кружок волейболистов, тоже смоляных, в одних плавках. И все это в криках, суете, морском мате, в непрестанном гудении лебедек и вибраторов...

Так вот она какая, оказывается, Банка Джорджес! Впервые я услышал о ней еще много лет назад, совершенно ненароком, ничуть не подозревая, разумеется, что мне самому случится уйти в плавание — и не куда-нибудь, а именно в этот фантастически далекий район промысла.

Тогда же, в шестьдесят третьем году, был я в Мурманске с заданием от редакции написать фельетон о портовых бичах, живущих за счет рыбаков. Был декабрь или начало января, точно не помню. Стояла полярная ночь. В первый же по при-

бытию день я спустился к причалу, от которого сейчас уходят катера "Мечта" и "Ласточка" на рейд, и стал свидетелем, как в ночи швартовался небольшой, изрядно истрепанный морем тральщик. Снежная крупа била по его ржавым бортам и форштевню. По трапу сходила команда — я не запомнил их лиц. Теперь почему-то кажется, что все были небриты, многие с бородами, с черными воспаленными лицами, ничуть не похожие на тех, с кем иду я в плавание сейчас.

Я спросил одного:

— Откуда?

— С Джорджес, с Банки Джорджес. Слышал?

— Далеко ли она от Мурманска?

— Далеко ли? Вон, вишь, за скалой. Взберись на Петушинку и увидишь.

Другой сказал:

— От Мурманска суток двадцать пять.

В ночи тральщик било волной. За ворот задувало снег. Глаза слепило. Я подумал:

"Если в Мурманске такая погодка, то что же творится на этой Банке Джорджес, до которой почти месяц идти, даже от этих полярных мест".

Так и врезалась она почему-то в память в ночи и во льдах, — самый что ни на есть край земли.

А сейчас, нежась под знойным солнцем Джорджес, я про себя улыбаюсь. Мне симпатичен этот шумный одесский базар, эти протянутые по палубам веревки с бельем, точно перевешанные прямо с московских дворов, и эти беспорядочные штабеля бочек, и эта пляжная суета. — Что ж, человек остается человеком, даже если место его жительства передвинуто к берегам Америки, и он месяцами не видит земли и дома.

Возвращаюсь в каюту, где меня ждет масса анкет. На Банке Джорджес идет социологический опрос, читаю, впрочем, не все подряд, а те лишь, в которых хоть как-то самовыражается автор — анкеты, конечно, не стихи, но и за их строчками можно почувствовать человека.

Вчера утром наткнулся на "самовыражение" Сойкеса, кстати, несравненно более бедное эмоциями, чем его автор.

Сообщил, что ему сорок лет и что он окончил Батумское мореходное училище. "В детстве, — пишет флагман, — мечтал быть моряком, поэтому по окончании восьми классов и поступил в училище. Но сейчас, когда проплавал двадцать четыре года, — единственная мечта устроиться работать на берегу".

О своем желании уйти на берег Александр Романович говорит непрестанно.

— Но, понимаете, боюсь. А чего боюсь, сам не понимаю. Старость, что ли, черт побери! Жена говорит, дай слово, что идешь в последний раз. Я даю. А потом возвращаюсь и ухожу снова.

Комментарии к анкете флагмана дает его всезнающий пом и референт Юра Торопов. Жена у Сойкеса — наполовину китаянка (познакомился с ней не то в Одессе, не то на Дальнем Востоке), женщина очень интересная, и Сойкес ее обожает...

Одну за другой я читал анкеты капитана, старпома, вахтенных — знакомых у меня уже пол-"А. Хлобыстова", и в каждой пытался найти хоть малое подтверждение того, что я уже знал о них. Но сегодня мой расчет на "самовыражение", кажется, дал трещину. Никак не подозревал, что урок в этом смысле преподаст мне представительница прекрасного пола.

Какая-то анонимная обитательница плавбазы сообщала в своей анкете, что ей двадцать три года, учится "на курсах матроса-уборщика", на флоте "прозябает пять лет, переменяла сотню судов и, наконец, попала на "А. Хлобыстов".

"Почему избрали профессию моряка?!"

"Никто не брал замуж, решила искать мужа в море!"

"Ваше семейное положение, есть ли у Вас дети?"

"Замуж выскочила. Детишек нарожала, но детсада не представляют".

"Имеете ли на берегу жилье?"

"Купила на берегу хибарку 2,5 х 2,5 на Петушинке. Квартиру надеюсь получить перед уходом на пенсию. Очередь 3050".

"Ваша среднемесячная зарплата?"

"Семьдесят ре. Живи, как хочешь. Добро, что любовнички поддерживают".

"Сколько времени проводите с семьей? Если семьи не получилось, то, по возможности, укажите причину".

"Семья не получилась, потому что направили нас на разные пароходы. Мне стало скучно, и я мужу изменила".

Я решил дать анкету на экспертизу Торопову. Застал его в каюте Сойкеса, ломающим вместе с шефом голову над очередной радиограммой. По-моему, оба обрадовались моему приходу.

— Вот, кто нам поможет. Понимаете, нам надо в порт отправить "Атлантику" — на борту ее ни хрена нет и не будет, но писать об этом не могу, — скажут, хорош флагман! Умолчать об этом тоже не могу, скажут, скрыл факты... Ладно, хрен с ней. У вас, кажется, что-то поинтереснее. И, прочитав анкету, сказал:

— Смеется, стерва. Я не я, смеется! Кто ж это, черт меня побори?

— Кто? — уже ломал в муках голову Юра, прочитавший анкету вместе с Сойкесом. — Стойте, айн момент! Так это же Светка! Светка-камбузница, — осененно щелкнул он тремя пальцами. — Длинный, еще выше Сойкеса, он поднялся и солнечно улыбнулся флагману:

— Мой адмирал, буду через 20-30 минут.

В столовой команды Торопова тотчас обступили три молоденькие камбузницы. Они кокетничали с ним, о чем-то расспрашивали, а я пытался разгадать: которая же из них анонимная корреспондентка. Тем временем выяснилось, что Светка уже на камбузе не работает, а переведена в уборщицы ("матрос-уборщик!") Обнаружили мы ее в кино. Из зала вышла высокая и остроплечая девица с большими вялыми глазами. На ней был сарафан, обнажавший ее длинные худые руки, на ногах — старые, разношенные тапки, надетые на босу ногу.

Увидев нас с Юрой, она необыкновенно удивилась.

— Вот, Светка, с тобой журналист поговорить хочет.

Втроем мы вошли в Красный уголок. Она попросила у Юры

закурить. Пустила струйку дыма и вдруг засмеялась. В глазах ее появилось что-то острое, кошачье.

— А о чем, собственно, со мной говорить?

— Анкету ты писала? Вот эту, — и Юра показал ей взятый у меня листок с карандашными каракулями.

Она замотала головой.

— Нет, нет, — но, не выдержав, засмеялась снова. — Я там вам всякие глупости написала.

— Да ты, Светка, не стесняйся. Человек просто хочет узнать, что такое настоящая морячка. Как идет жизнь на судне и прочее.

— Что такое судовая жизнь? — она вопросительно посмотрела на Юру, перевела взгляд на меня. — Ну ладно. Вот слушайте. По порядку, да? Первую неделю, когда выходят из порта, все празднуют. Целую неделю без перерыва. Танцуют. Знакомятся. Потом начинается полоса скромности. Все приглаждаются друг к другу. Кое-кто из девушек выбирает себе друзей-товарищей, конечно, из комсостава. У них же отдельные каюты. В общем, я думаю, вам ясно? К тому же матроса, чуть что, капитан спишет. А со стармехом или штурманом — дело сложнее.

— Все ясно. Ближе к делу, — сказал Юра.

— Я и так, по-моему, по делу. Ну, в общем, живут себе он и она потихонечку. Если он понравится ей — не грубиян и прочее, значит и останется. Если нет, сменить можно. Тут, конечно, такие слова: "Ты моя любимая, без тебя жить не смогу". Привыкает, конечно, любовь! И так до Норд-Капа. Так ведь говорят: "Любовь морячки коротка, от Норд-Капа до Норд-Капа". А у Норд-Капа начинают приходить в себя. В порту — жена. Придет и будет всех морячек обглядывать: которая же с моим была?

Здесь, конечно, и драмы и трагедии. Он, конечно, начинает суетиться. Говорит: "Хочешь — ползарплаты отдам? Да я с женой только недельку и буду, а с тобой целый рейс!" Ну, а в порту уйдет с женой. И тут, конечно, многое от морячки зависит — выпустит она своего любимого или прихватит.

— Все как-то ты абстрактно, Светка, примерчик хоть бы привела, историю. — Торопов, взявший на себя роль моего

просветителя по части внутреннего мира морячек, был явно неудовлетворен.

— Факты вам, истории? Пожалуйста. На "Маточкином шаре" была у нас такая женщина Анфиса. Стала она походить к третьему штурману.

— Ну, у них, конечно, все как положено было?

— Да отстань ты, слушай! Значит, ходила она, ходила, а у Норд-Капа стал он ей намекать, что, мол, пора свертываться. В Мурманске его ждет невеста, расписываться должны. Конечно, он мало-помалу дает задний ход. А девушка в положении. Конечно, не хочет его отпускать. Говорит: "Я беременная, как же мне быть прикажешь? Куда деться с незаконным дитятей?" А он отвечает: "Во-первых, надо еще доказать, в каких мы с тобой близких отношениях. Кто знает? Ты да я, а это еще не доказательство..."

"Не доказано? Хорошо!" Достает ключ от его каюты, отдает Таньке, своей подруге, и говорит: "Придешь к нам сегодня в десять ноль-ноль с первым помощником".

В девять ноль-ноль как ни в чем не бывало пришла к любимому, а в десять Танька дверь отомкнула и вместе с первым помощником нагрязнула.

— Сценка, наверное, была классная? — улыбнулся Торопов.

— Да отстань ты, слушай! Значит, зафиксировали. Ладно. А он, между прочим, парень крепкий был. Мало ли кто, говорит, с кем живет, ребенок-то не мой, а с берега.

"Не твой? Хорошо".

Идет девушка к врачу и устанавливает: срок беременности — два месяца, а в рейсе — четыре находятся.

А уж Норд-Кап прошли. Дело к порту идет.

Анфиса на него наседает: "Куда мне с деткой деваться? С незаконнорожденным? Давай, пиши обязательство!"

— О чем? — спрашивает.

— А вот пиши: "Я такой-то и такой подтверждаю, что действительно ожидаю ребенка, который родится у Анфисы такой-то. Ребенок это мой, и я обязуюсь его взять на полное свое содержание".

А штурману что делать, когда уж в Кольский залив вошли?

Он и написал. Анфиса взяла бумагу и к капитану:

"Прошу поставить печать и удостоверить заявление третьего штурмана".

Капитан прочитал. Стоит. Мнется.

"Видите ли, Анфиса, мы такие бумаги не заверяем."

"Ладно. Не заверяете — так не заверяете!"

Снова пришла к любимому:

"Давай думай, что с ребенком нашим делать?"

А уж к порту подошли. Там на берегу его невеста ждет — не дождется.

Он и говорит:

"Давай вот так, Анфиска, на стоянке разойдемся, а потом встретимся в следующем рейсе".

А она: "Нет уж, извините. Обязательство писал — писал. Давай выполнять будем".

"Так куда ж я сейчас-то с тобой денусь? И вообще обязательство мое недействительно. Капитан поставил печать? Нет! А без печати какая официальная бумага?"

Тут Анфиса слегка рассердилась. Взяла на столе бутылку из-под боржоми и разбила слегка голову любимому.

— Вот это уже ничего, колорит моряцкий, — восклицает Торопов. — Отличная история!

— Фельдшер его перевязал. Он человек, конечно, стойкий был. Встретился обвязанный с невестой и тут же прямо с корабля в ЗАГС. Расписались, а Анфиса следит из-за угла. Когда из ЗАГСа в троллейбус сели, вторично она помяла ему голову. Публичный скандал устроила. Забрали, конечно, всю компанию в милицию. По ходу дела невеста уже познакомилась с судовой жизнью своего суженого — как он ей верность все четыре месяца хранил. Но решила, видно, до времени вопрос не поднимать. Тем более из ЗАГСа только вышли. В милиции побеседовали со всеми троими, и разъехались они в разные стороны. Молодые — в одну сторону, а Анфиса — в другую. При своем пиковом интересе.

Недавно встретила ее: "Ну как, родила?"

"А что делать, родила. Сына. На него похож — вылитая копия. К маме отправила. Сама, конечно, в рейс иду, а что делать — жить-то надо".

Светка замолчала. Увидела в моих руках анкету.

— А это не думайте. Я так просто, для хохмы. Тут все неправда. — В Красный уголок вошел какой-то незнакомый мне матрос.

— Света, привет. Че делаешь-то?

— Ничего. Тебе что надо-то?

— Хотел узнать. Чего ты так плохо убираешься? Влюбилась, что ли? Смотри, сообщим помпе\*.

— Иди отсюда! — разъярилась Светка.

Матрос все так же неспеша вышел.

— Как ненавижу! Мамочка, кто бы знал! — и, поглядев на Юру, потом на меня, рассмеялась...

Из кинозала время от времени доносились звуки джаза. Труба. Саксофон. Ударник. Кто-то на экране грохнулся. Снова саксофон.

— "Рокко и его братья". Моя слабость. Четвертый раз смотрю. А вы моряцкую жизнь давно изучаете? — обратилась она ко мне.

— Ну, ладно, Светка, давно, недавно. Ты о себе давай. Ты же кадровая морячка. С кем сейчас дружишь... Да не стесняйся, говори. Это свой человек.

— Вы подумайте, какой нахал. Дурачок! Я уж третий год замужем. Муж мой в Англию на "Васнецове" ушел. Третьим механиком...

— Ну рассказывай, как замуж выходила. Послушаем. Как настоящие морячки личную жизнь устраивают.

— Биографию, что ль, свою рассказать? Могу... Родилась в Жданове. Жила там с отцом. Он — начальником МПВО был, за мной не следил. Я, конечно, и росла без особого присмотра. Исполнилось, значит, восемнадцать лет, отправилась к тетке в Заполярный. По дороге, пока тетка насчет прописки хлопотала, заехала в Мурманск. Посмотрела. Город ничего. Жить можно, так и осталась. Кончила ШУКС. Школу Усовершенствования Командного Состава — ну, это, конечно, немного позже, когда я пошла уборщицей на "Тамбове". Там я и познакомилась с Володечкой Глебовским — моим мужем.

\*Помполит.

Был он тогда тихий такой, курсант мореходки. Ну, конечно, стали мы с ним встречаться. Он — ко мне. Я — к нему. В общем, мальчик с девочкой дружили. Ничего плохого у нас с ним не было. Говорили просто. Болтали. Он про свою жизнь рассказывал. Я — про свою. Общий язык, конечно, находили.

— Ну ясно! Ясно! — весело подмигнул мне Юра.

— Ничего тебе не ясно!

Из кинозала снова вырвались сумасшедшие звуки.

— Ой, не могу, сакс! Ну, так вот. С Володечкой, значит, дружим. А сама вижу, что на меня капитан поглядывает, Николай Иппатович. Приду к нему убирать. "Садись, посиди, — водочки наливают — может, выпьешь?"

До времени, конечно, не очень нажимал. А однажды я пришла убирать его каюту. Он мне прямо и говорит: "Ну, в общем, ясно что. Давай, так, мол, и так. Хочешь, даже женюсь на тебе". А в общем-то я тогда ничего была. Молоденькая. Девятнадцать лет, Многие посматривали. Я ему отвечаю: "Как вам не стыдно. Николай Иппатович. У вас сын такой же, как я. Он еще мог бы на мне жениться. А вы в отцы мне годитесь".

— Это какой Николай Иппатович? Старпом что ли "Октябрьской революции"? — переспросил Торопов.

— Ну!

— Шикарный, между прочим, мужчина. Седой такой — мечта!

— Все вы шикарные... В общем, так. Стал он, конечно, ко мне в каюту приходиться. Сядет рядом со мной на койке. Соседка не спит. Все видит. А он на нее внимания не обращает. Как начнет: "Ну, Светочка, хоть повернись. Хоть разик в мою сторону".

Я ему говорю: "Уходите сейчас же из каюты. Нечего вам тут делать".

Однажды слышу по мегафону объявляют: "Такой-то и такой, значит, мне, зайти в каюту к капитану".

"Что-то, думаю, здесь не то".

Но не идти нельзя, раз капитан вызывает.

Пошла-то пошла, а Володечке приказала: "Возьми парней и стойте около двери. В случае чего, сразу стучитесь".

Так и получилось, как думала. Зашла к нему и началось: "Ты, Светочка, мне очень нравишься. Да я тебя люблю. Семью, если хочешь, оставлю".

— Семью вы, во-первых, никогда не оставите, а, во-вторых, я уже говорила, что я вам в дочери гожусь. Еще если бы ваш сын говорил, что хочет жениться, можно подумать. А сына его я, между прочим, видела. Отличный парень!

Но он ничего и слушать не желает. Схватил за руки и к себе. Я крикнула: "Отстаньте сейчас же!" И в дверь стук. Ребятки тут как тут.

А на Первое мая вот что произошло. Все, конечно, выпили. И он тоже косенький.

Вызывает меня штурман на мостик. Прихожу. Господи! Штурмана нет, опять он! Дверь захлопнул, и снова мы с ним один на один. И опять такие же объяснения: "Ты для меня дороже жизни. Мы с тобой никогда не расстанемся". Только за дверью моих парней на этот раз не было.

Что делать? Идет на меня и идет. Отступаю я и вижу передо мной спикер.

Я тихонечко его включаю, а капитан не видит, продолжает свое: "Да я жену и не любил никогда. У меня машина своя. В отпуск вместе поедем..."

Тут, конечно, стук в дверь. Врывается старпом: "Николай Иппатович, что вы делаете! Вас весь экипаж слышит!" Хмель с него как рукой сняло. Ушел в каюту. А ко мне парни прибегают: "Ну, молодец, девушка, здорово ты его!"

— Узнаю почерк настоящей морячки! — смеется Юра.

— Наутро приходит ко мне. Злой. Не смотрит. Цедит сквозь зубы: "Света, знаете ли, что вы опозорили меня не только на все судно, но и на весь флот. Когда вернемся в порт, получите аттестат и будете списаны на берег".

А у нас с Володечкой уже по-настоящему началось. Когда к порту подходили, ждала я уж третий месяц ребенка.

Следующий рейс должен был быть коротким — двадцать дней.



Мы с Володечкой обо всем договорились — придем из него, распишемся.

А если спишут беременную? Что делать?

Володечка рвался с капитаном поговорить по-мужски. Я не давала. Кто он против капитана? Курсантик. Не дадут характеристики. Из училища исключат. Человек пять лет учился. Но он все же пошел к Николаю Иппатовичу. Узнал, что меня списывают и пошел. "Давайте и меня со Светкой списывайте".

Капитан встретил его сухо: "Вы практику прошли, Глебовский? Нет. Могу вас списать, но без характеристики. Получайте паспорт и на все четыре стороны".

В общем, вернулись. Стоим в порту. Время идет. Вроде все забылось. И вдруг в последний день — КПП уже ждем — меня вызывают к старпому и тот вручает аттестат. Иди, говорит, к капитану, потолкуй. Там, кстати, сейчас его жена. И глазом подмигнул: "Мол, действуй!"

А мне куда деться? Иду, вижу в каюте висит дамское пальто. Прихожу в спальню. Сидит блондинка. Средних лет. Я к ней: "Знаете, за что ваш муж меня списывает?" И рассказала все, как было. Она растерялась, побледнела. А он аж весь позеленел. Чувствую — убил бы, если б мог.

Взял аттестат. Подписал и говорит: "Можете быть свободны. Катер командно-пропускного пункта доставит вас на берег".

Вот так и осталась на берегу не солоно хлебавши, а Володечка, конечно, в рейс ушел. Настроение у меня, сами понимаете. Чувствую — вся жизнь рушится. Через несколько дней вызвали в отдел кадров — и в море. На корабле отличный встретился человек. Хирург. Аборт делать отказался. Уговорил рожать.

На седьмом месяце и вернулась в порт. Настроение не ахти. Рожать-то рожать, а дальше что? Сажу как-то дома, слышу объявляют по радио: "Сегодня прибывает в порт производственный рефрижератор "Тамбов". Выходит, возвращается Володечка. Что же, думаю, делать? Пойти встретить? А что это даст, с другой стороны?"

Если он человек — то и сам явится. Проходит день, другой, ну, думаю, ясно, кто мой Володечка. И вдруг вечером телефон. Подхожу: он! Поздоровался и сразу же сообщил: "Завтра идем расписываться!"\* Ну, у меня, конечно, настроение поднялось. И наутро решила ехать к начальнику флота. Вошла и сказала, что я такая-то и такая — ложусь рожать. И что никуда из больницы не уеду, пока мне ключ не привезут. Вначале он отшучивался, а потом, по-моему, понимать меня стал, что девушка серьезная. Родила я сына. Мне в роддом ключик привезли: "Пожалуйста, получите, товарищ Глебовская!"

Кто-то открыл дверь в Красный уголок. Фильм, по-видимому, кончился. Джаз гремел, как оглашенный.

— Юрочка, ты сакс любишь? Я просто не могу. Схожу с ума. Закурим, что ли? — она взяла сигарету, зажгла и сладко затянулась. — Недавно, между прочим, встретила Николая Иппатовича. В отделе кадров. Его после того случая во вторые штурманы перевели. Стоял он у стола инспекторши по кадрам, я подхожу и говорю: "Моя фамилия — Глебовская". Пусть знает, чем наша история с Володечкой кончилась...

— Страшные люди — морячки, — сказал Торопов. — Это же надо так поступить. С порядочным человеком, семьянином! Он засмеялся, и Светка тоже засмеялась чему-то своему.

... Мы встаем и, попрощавшись с ней, выходим на палубу. Вдали, над самым морем висит великолепная куиндживская луна. Тишина поразительная. Я смотрю на воду, ловлю себя на желании хотя бы приблизительно определить ее цвет. К бликам луны примешиваются отсветы от фонаря, закрепленного на грот-матче — и оттого видимы лишь изменчивые переливы — то с синевой, то зеленые, то темно-пурпурные. Я гляжу на краски моря и думаю о многообразнейших красках жизни, где нет места примитивным и однозначным оценкам. Жизни, о которую вдребезги разбиваются легенды

\* История с Николаем Иппатовичем более других вызывала возражения рецензентов. Особенно недоумевала одна редакторша — старая дева, если не ошибаюсь, из "Невы": "Интересно, откуда вы выкопали это нечистоплотное животное? Вместо капитана-коммуниста! (По-моему, ей хотелось, чтобы Николай Иппатович весь рейс проводил с женским персоналом политбеседы.) Вот любовь Владимира и Светланы — это да! Только нельзя ли, чтобы Светлана забеременела уже после возвращения Владимира из рейса?" Кажется, именно в этом месте я не выдержал и забрал рукопись.

и мифы. Я вспоминаю Чапека, который писал, что для него — "...признание безграничной сложности действительности — это проявление уважения к действительности, уважения, которое перерастает в восхищение. Нам, людям, дан кусок Вселенной, чтобы мы познали ее, мы добираемся до ее глубин не единственным путем; мы зондируем ее своими поступками, наукой, поэзией, любовью и религией, нам нужны разные методы, чтобы измерить свой мир".

Я иду по левому борту и люблю картину вечернего моря. В ярких переливающихся красках оно кажется гофрированным и каким-то картинным, словно гигантская панбархатная портьера укрыла его в эту штилевую ночь.

Меня нагоняет Сойкес:

— Слышали, Виктор Борисович, — гремит он на всю палубу, — рыба идет, большая рыба, а хотели закрывать промысел, артисты!

### **УРУСОВ И ЛЕЛЬКА (из дневника палубного матроса БМРТ "Некрасов" Алексея Урусова)**

4 декабря — первый день плавания.

Час назад отшвартовалась от берега моя жена Лелька. Позади медовая пятидневка. А впереди?.. Кто бы мог сказать, что впереди, когда через четыре месяца вернусь к восемнадцатилетней жене.

По кодексу строителя коммунизма я обязан быть в ней абсолютно уверенным. И я абсолютно уверен, потому что кто бы дал рецепт, как жить морякам, не веря женам.

Но еще более я уверен, что эти четыре месяца пойдут нам на пользу. Не от того, что в разлуке крепнет любовь — все это газетная ахинея! — просто молодой семье, как любой новой вещи, требуется пройти ОТК. И чем раньше, тем лучше. Мы с Лелькой пройдем свой ОТК — это так же точно, как то, что я привезу с Банка Джорджес тысячу двести рублей — первый взнос в кооператив.

Я поймал себя сегодня на мысли: чем Лелька отличается от моей первой жены Флоры? Красотой? Возрастом? Нет, прежде всего генами, вернее, хромосомами. У Флоры хромосома — сплошь из честолюбия — по наследству от мамы, на семейном языке Муси.

У Лельки хромосома — неизвестно из чего, она — сирота и хромосома у нее безродные.

Когда мы с Флорой ложились в постель, Муся в щелку подглядывала, чтобы все было, как у людей. За Лелькой некому было присматривать. Пока раздевалась, я стоял у окна, курил, подойти не решался. А может, зря не решался. У нее, между прочим, ужасная манера — нести на улице околесицу и... стрелять по сторонам.

Когда мы пришли на причал, я спросил ее, будет ли она скучать. Она ответила:

— Урусов, ты можешь двигать ушами?

Я сказал, что попробую.

— Не попробую, а двигай. Человек должен владеть своим телом, если на четыре месяца уходит от жены.

Я смотрел на ее лакированную сумку, которую я ей только что купил — отличная вещь! — и она продолжала:

— Ты знаешь, Урусов, что в тебе самое прекрасное? Ресницы! У рыжих они вроде бы должны быть рыжие — закон природы, — а у тебя белые, как снег.

...Кстати, честолюбие — тоже великолепное качество, только для мужчин. У женщин оно, как кислота, выедающая все. Я помню, что для Флоры и Муси существовало две пытки (даже пытки у них были общие). Первая — садиться под бормашину, вторая — сообщать, что Мусин зять — учитель физкультуры.

Для знакомых я имел специальный табель о рангах, в зависимости от положения знакомых. Не знаю, почему, но чаще всего я был юрисконсульт. Муся говорила: "Юрист-консул". В эту минуту я мог бы ее прикончить.

9 декабря — шестой день плавания.

Получил от Лельки первую радиограмму. Вскрыл и чуть не взревел от злости. "Здорова. Скучаю. Целую. Твоя жена Лелька".

Точь-в-точь такие слали из Сочи мои рижские дамы. Только в конце у них было: "Целуем Рыжик!" (И те до "рыжика" додумались!) А Лелька? Неужели не могла хоть что-нибудь придумать, ну, хоть насчет ушей, хоть "Подвигаю, Урусов, ушами". Чтобы, кроме меня, во всей Атлантике никто ни хрена не понял. А то, как производственный рапорт: "План по телеграммам выполнила. Темпы не сбавлю. Капитан-директор Урусова".

23 декабря — двадцатый день плавания.

Промысел. Шторм девять баллов. В первый день думал, что отдам концы. Ритм такой. Четыре часа работаем. Четыре отдыхаем. Сутки поделены на шесть квадратов. Черные — отдых. Белые — работа. Отдых — самое страшное. Когда я стою у весов, то чувствую, как лопаются сухожилия (вчера за смену поднял 125 ящиков), но я думаю не о сухожилиях, а о томике Межелайтиса, с которым после вахты растянусь на койке.

А когда ложусь, половина удовольствия пропадает. Из-за ноющих сухожилий, а ноют они не от боли, а от перспективы снова идти на вахту. Я так по-идиотски устроен — что, хоть на час, хоть на минуту, но обязательно должен обогнать самого себя. Слово "сейчас" для меня пустой звук. Оно существует лишь в будущем времени.

Кутаков — наш мастер, по-моему, это отлично понимает. Когда я стою у весов и выдыхаюсь, он подходит и подбадривает: "Еще, Урусов, еще, терпенье и труд, все перетрут, скоро перекур". И сочувственно улыбается. Улыбка у него до ушей. Лицо совершенно рябое и доброе.

— Скажи, Урусов, — любит он философствовать, — когда человек быстрее помирает: когда работает или когда выходит

на пенсию? Ясное дело, — на заслуженном отдыхе — медицинской доказано.

С Кутаковым я согласен только в выводах. Посылки у меня свои, сугубо личные. Раз и навсегда я для себя решил: ни при каких условиях на пенсию не выходить. Я отлично знаю свою психологию. Когда буду работать, буду мечтать об отдыхе. А как только выйду на пенсию — сразу загремлю на тот свет.

Почему так долго ничего нет от Лельки?

25 января — пятьдесят третий день плавания.

Наконец-то прислала радиограмму и на тридцать шесть слов. Двадцать ушло на описание лакированного пояса, который купила у Пяти Углов.

Когда Лелька раздевается, я схожу с ума, у Лельки — самая тонкая талия в Мурманске, пояс ей, конечно, пойдет. Но все-таки не следует забывать о главном. Перед моим уходом в море мы составили специальную декларацию. Назвали ее по-ленински: "От какого приданого отказываемся".

Приданое в нашей семье — это совсем не то, что Муся выделила дочери перед свадьбой. Приданое — это то, что мы с Лелькой ни от кого не получим, и пока не построим кооперативную квартиру — не собираемся покупать. По обоюдному решению мы отказываемся: от софы, телевизора, секретера, магнитофона (для семьи), от лаковых туфель, нейлонового белья, стиральной машины (для Лельки), электробритвы "Харьков", часов "Звезда", поролоновой штормовки, плаща-болоньи (для меня). Всего четырнадцать предметов, без которых мы в нашем "раю" на Петушинке можем вполне прожить. Рай — всего девять квадратных метров и к тому же страшно заставлен хозяйкиными вещами.

Конечно, и за то спасибо Лелькиному шефу Игорю Петровичу. Помог по соседству, рядом с собой подыскать.

Однажды я видел, как они с Игорем Петровичем выходили из КБ. Он толстый, холеный, только щеки обвислые (по та-

ким девочки с Пяти Углов обмирают!), а она — рядом, куколка фарфоровая, нет, не фарфоровая, живая, в клетчатой юбочке, на тоненьких шпильках. Я тогда дико обозлился, а она расхохоталась мне в физиономию: "Урусов, ревнуешь? Да, он мне в папы годится!" Тогда я сказал: "Докажи!" А она сказала: "Как?" А я сказал: "Вот так!" И с силой ее придвинул к себе. "Урусов!" "Что, Урусов?" Хозяйки не было, мы стояли на кухне, возле кухонного стола. Я повернул ее спиной к столу. От комнаты нас отделял маленький коридор. Она показала глазами на дверь. "Нет, здесь!" Я сорвал с нее пояс. "Урусов..." Что, Урусов?" "Идиот, подвигай ушами..." Она, кажется, сказала именно это. Но я уже не слышал. Я знал, чего я хочу. И хотел этого именно здесь, на кухне, на кухонном столе. Кухня и кухонный стол были актом моего мщения. А она, когда все кончилось, пудря перед зеркальцем свой носик, сказала: "А все-таки, Урусов, ты ужасный нахал. С Игорем Петровичем этого никогда бы не случилось". Что она имела в виду и при чем тут Игорь Петрович? Но видно, при чем-то был. А вот теперь опять пояс... Сколько их ей нужно, и зачем он ей без меня? Впрочем, куплен он на законном основании — из "аварийного фонда". В нашей семье "авария" — это не то, что у меня произошло с Флорой. "Авария" — это, когда один из нас сгорает от желания что-нибудь иметь, а другой не вправе отказать.

Перед моим уходом в море мы зашли в магазин для новобрачных. Лелька стала глазеть на шведские сапоги. Я спросил: "Авария?" Она ответила: "Да, авария". Я спросил: "Последняя?" Она сказала: "Да, последняя". Я молча отсчитал девяносто рублей и попросил вернуть сапоги. А она изучающе посмотрела на меня: "Сколько у тебя, Урусов, веснушек?"

Я сказал: "По данным этого года — 7695".

Она придвинулась ко мне, словно хотела проверить и воскликнула:

"И на ушах тоже!"

Я ответил: "Да, и на ушах".

Она сказала: "Если на ушах, значит, ты настоящий мужчина".

...Однако, как бороться с качкой. Сегодня опять всю ночь корчился. Думал, выворочусь наизнанку.

27 января — пятьдесят пятый день плавания.

Чехов капля за каплей выдавливал из себя раба. Я капля за каплей выдавливаю из себя пижона.

Пижонство — это, когда истину приносят в жертву словам. И еще когда, как по радио, слова говорят ради слов. Однажды я услышал от одного московского пижона выражение: "Физики стремятся узнать многое о немногом, философы — немногое о многом, в перспективе: первые все о нио чем, вторые — ничто о многом".

Он сказал с небрежной улыбкой, а я неделю ходил, как сумасшедший. Через год эти слова я прочел у Гранина.

Пижонство — болезнь молодости, но если дать ей застареть, то погибнешь, как личность.

В первые дни плавания я писал, что самое страшное для меня — отдых. Я врал и к тому же с благородным намерением говорить красиво. После вахты у меня дрожат руки и трещат сухожилия. И я думаю лишь об одном, как быстрее лечь и насытиться положенными мне четырехстами минутами. Я несу их, как пригоршню ценных зерен, и над каждым дрожу, как Плюшкин.

Отдых для меня — не роскошь и даже не предмет необходимости. Он — нечто большее, почти мое будущее. Когда я вернусь в порт, сразу же начну сдавать экзамены. До берега надо прочесть Маркса, Покровского, Тарле, Сименона, Межелайтиса — тридцать восемь книг, по десять в месяц, по три в неделю, по полкниги в день... Эмпирически я установил, что моя минута, если я не ловлю мух, — это четверть страницы "Капитала".

А вчера вдруг вперился в проплывшую мимо каюты подругу Кутакова буфетчицу Зотовну. Вперился чисто аналитически, чтобы сравнить ее с Лелькой. Лелька тоненькая и

упругая, Зотовна мягкая, как студень. В Зотовну влезет три Лельки. (Но почему от нее так долго ничего нет?) На судне говорят: изменяют все. Только умные — умеючи, а дураки — явно. А Зотовна говорит, что я похож на ее мужа Петю, такие же волосы золотые. Так вот на этот "ценный анализ" ушло почти десять минут.

Если существует разновидность абитуриентов-шизофреников, то я типичный такой шизик.

Шизик, но не робот. И потому мне требуется какой-то запас времени на воспоминания, мечты и прочее. Это время я нахожу на вахте. Когда я хватаю с пола брикеты и думаю о Лельке, брикеты не так режут торцами руки. Но этому занятию страшно мешает зануда Кутаков со своей вечной улыбкой, особенно, когда подбадривает: "Еще, Урусов, еще! Терпение и труд все перетрут".

15 февраля — семьдесят четвертый день плавания.

Телеграмма от Лельки. Снова авария. (Когда это, наконец, кончится!) "Купила японский купальник. Умираю. Вышли доверенность сорок. Твоя жена Лелька."

За сорок рублей я вкалываю целую неделю. Я поднимаю две тысячи ящиков и плачу за это своими сухожилиями. Конечно, купальник ей пойдет, но перед кем ей раздеваться, да еще зимой? Когда я представляю Лельку рядом с Игорем Петровичем, меня выворачивает, как от качки. Он — в синих москвошвеевских трусах, с обвислыми щечками, а она — в моем японском купальнике...

Пожалуй, ее надо приструнить.

Вечером я ей выслал сорок рублей.

15 марта — сто третий день плавания.

Вчера в столовой прижали капитана — почему нам не оплачивают сверхурочные. Он долго обосновывал и крутил, а

потом, отчаявшись что-либо доказать, перешел на другой тон.

— В такой концепции, выходит, ты только за деньги работаешь? А где же романтика?

Концепция — тут не при чем. Капитан ужасно любит применять ни к селу ни к городу иностранные слова. Что касается: деньги или романтика, то ясное дело: деньги! Я жажду денег в миллион раз острее, чем Рокфеллер, и в этом аспекте, как говорит кэп, он, по сравнению со мной, инфантильный пигмей. Ведь у него нет аварийной подружки, как у меня, с самой тонкой талией в Мурманске. И главное, ему не нужна хата. А кто я без хаты? Бесплатное приложение к девятиметровому раю на Петушинке. Другое дело с хатой. Я — личность, обладающая стопроцентной свободой воли.

Мы все спланировали с Лелькой до деталей — днем мы, конечно, работаем. Она по специальности — копировщицей, а я... Впрочем, последнее не имеет никакого значения. Единственно важно — что мы получаем высшее образование и после института идем не на Петушинку, с клопами и бабушкиными комодами, а в свою персональную квартиру, где до утра можно жечь свет и на всю квартиру двигать ушами...

А когда кончим институт, я постараюсь удовлетворить, наконец, все ее ненасытные потребности! (Если она к тому времени не поумнеет!)

А пока мне нужны деньги. Я должен стать Ротшильдом, Каупервудом и Плюшкиным одновременно и тогда, может, я приеду в Ригу и кое-кому скажу: "Дорогуши, вы хвастаетесь вашей кубышкой — плевал я на нее со своего балкона!"

"Размечтался. Раздухарился!"

"Ротшильд, пошевели ушами — не можешь подружке купить даже японский купальник".

"Не волнуйся, уже пошевелил и что надо вспомнил: что я, конечно, не барон Ротшильд и даже не начальник КБ Игорь Петрович, а матрос-весовщик Урусов, бывший учитель физкультуры, но который поставил перед собой определенную цель и, будьте уверены, ее добьется".

2 апреля — первый день плавания.

...Неделю провел в порту. Пролетела, как одни сутки, остался только шум в голове. Стал думать: "Скорей бы уж в море! За книги засесть. Деньги зарабатывать на кооператив, эти-то все ушли."

Алена встретила меня прилично, с цветами. Из порта сразу же отправились в берлогу. Там тоже цветы, большой горшок с отличными крымскими розами. На окне тюлевые занавески. Вообще это отлично, когда тебя ждут в порту. Для начала решили в "Арктике" отметить прибытие.

В Мурманске апрель — месяц белых ночей — девять вечера, а в ресторане светло, как утром, как будто даже светает — зайчики по столам прыгают. Играет оркестр, жизнь бьет ключом.

Хорошо чувствовать себя личностью. Все к тебе относятся с уважением. Все хотят сделать приятное.

В ресторане угощал каких-то студентов — звали в Москву, хвалились, что у них во всех вузах знакомство. В общем, сотню спустил (да еще официантке — пятерку).

Ночью, когда пришли, я был совершенно пьян, а когда я пьян, мозги у меня сворачиваются набекрень — я становлюсь дико подозрительным. Я погасил свет и ждал, пока она разделется, а когда она разделась, я включил свет снова, точно хотел ее всю просветить насквозь. Я сказал: "Ну, давай, жenuля, выкладывай, как жила, как время проводила?" Она завернулась простыней: "Урусов!" "Что, Урусов?" Я стащил с нее простынь. "Да что с тобой, подвигай сейчас же ушами!" Она схватила меня за ухо и потащила к себе. А я вдруг чихнул. Она засмеялась, и я тоже рассмеялся и мысленно обложил себя матом. До утра мы не сомкнули глаз, а утром она потащила меня в морской музей, для чего, не знаю. В музее, конечно, одни мы, энтузиасты. Осматривали сушеных омаров, всякие водоросли, морских чертей. Я сказал, что эта роскошь мне надоела на промысле — сыт по горло.

Она ответила: "Урусов, двигай ушами — тебе всегда на пользу". Я посмотрел на нее — отличная женщина. Еще кра-

снее стала. Взяла меня под руку и двинулась на главную экскурсию, по проспекту Ленина — в магазины...

По случаю приезда набрали духов, кремов, какой-то импортный лосьон за три семьдесят — рублей на двадцать одних ТЭЖЭ. Я-то к этому абсолютно равнодушен. На базаре только немного разыгрался — увидел помидоры. Грузины торговали: по червонцу за три. Я бросил им два червонца. Хорошо быть личностью!

А вечером произошла сцена по вопросу, куда идти. Я говорю: "Пойдем в "Арктику", а она тащит меня на вечер к ним, в НИИ (хотел узнать, кто распорядитель, Игорь Петрович? Потом раздумал — если у них что есть, так уж есть).

В общем, разошлись. Я — в "Арктику", она — в НИИ.

За пять дней только раз в кино ходили. А в остальные — то в "Арктике" сидели, то в "Космосе"...

Перед морем купил золотые кольца. Одно — себе, другое — ей. Ей потолще, чтобы верность хранила.

Уходили ночью. По дороге, были уже почти у причала, и надо же кого встретили — Игоря Петровича! Он шел по другой стороне и нежно помахал ей зонтиком, а она... по-моему, она послала ему воздушный поцелуй. Может быть, конечно, мне показалось, но какой-то знак сделала. Я тут же ей сказал: "Пошли обратно!" Она спросила: "Это еще зачем?" Я сказал: "Быстро!" "Урусов, не психуй, что случилось?" И тогда я зарычал: "Авария! Понимаешь, у меня авария, один раз в жизни!" Я легонько втолкнул ее в парадное. "Урусов, не здесь..." "Здесь!" Я сдернул с нее пояс, уже другой, лаковый, и не знаю, почему, но она не стала сопротивляться. А на причале вдруг расплакалась, и у меня тоже настроение было сквернейшее. Отшвартуемся: я-то уйду в море, а она, говорит, поеду ночевать к Любке (я эту Любку в глаза не видел).

Когда снялись, подгрехала Зотовна, косенькая, бухая: "Это что, говорит, Урусов, твоя подруга?"

— Нет, отвечаю, жена...

— А я думала, подруга. Всё у нас в Мурманске перепуталось: жены, подруги...

14 мая — сорок третий день плавания.

Скоро уж полтора месяца, как я в море. Ни света, ни про-света. Штормы да туманы. Даже за дневник браться неохота. Алена представила сразу два счета — на французский халат и на босоножки (может, следует счета Игорю Петровичу пред-ставить?) .

А тут еще с Кутаковым схватился. Он по глупости ревнует меня ко всему, что не относится к ящикам с треской. Чувст-вую это даже по голосу, каким он меня наставляет, когда я читаю по ночам: "Учись, учись, Урусов, дураком помрешь!"

По-моему, он безгранично верит в наше терпение. Каждый месяц повышает нам обязательства. Сам составляет. Сам их рисует и даже своими руками вырезает из красного полотна выпелы для передовиков. На собраниях тоже выступает сам, и какую бы чушь ни предложил, спрашивает: "Возраженьев нет?"

А у меня пунктик: органически не выношу, когда кто-то коверкает слова. Мусю я не взлюбил именно в ту минуту, когда она представляла меня своему деверю, полковнику в отставке: "Знакомься, Феофил, Флорин муж — юрист-кон-сул". ( Я заметил, что у таких людей слабость именно к тем словам, которые им не даются).

В последнее время — может, из-за того, что хуже рыба пошла и на нас надо давить — Кутаков прицепился к слову "бухгалтерия". Я сказал ему, что по закону мне положено платить, как матросу первого класса. Он улыбнулся своей улыбкой от уха до уха и сказал:

— Кому, Урусов, закон, а кому — булгахтерия...

— Не "булгахтерия", сказал я, а бухгалтерия.

Кутаков на меня так странно посмотрел:

— Пускай так, мы — люди маленькие, институтов не кон-чали.

А назавтра меня вызвали к капитану, оказывается, еще в субботу опоздал на вахту. Кэп, конечно, бухой, а когда он бухой, не поймешь, то ли улыбается, то ли выходит из себя. "Ты, вот что, говорит, Урусов, штудировать — штудируй

(улыбка!), а трудовых казусов нам не устраивай (снова улыбка!). Не то как бы не пришлось на паритетных началах, ты — нам, а мы — тебе!"

Я смотрел на него и думал: "А верно говорят, что он Зо-товну тоже уделывает, Зотовна ведь добрая". Не знаю, для чего он на корабле и для чего вообще он на земле. У каж-дого внутри свой реактор, у одного — зверская любовь, у другого, как я, кооперативная хата. Из-за нее я не беру в лавочке масла, скоблюсь бритвой "Нева" и хожу в драных физруковских тренировках. А этот с утра до ночи лупит со старпомом в козла. Чего ему не хватает — богатый, как принц, на берегу-хата, дети и прочее семейное счастье. Но внутри, внутри ни хрена нет, не то что атомного реактора, простой бензиновой зажигалки.

1 июня — шестьдесят первый день плавания.

Сегодня слегка поддал и с перепоею не могу вспомнить, требуют ли на турбазах паспорта. В гостиницах — точно, тре-буют. А на турбазах, по-моему, нет. Если нет, значит, у нее с Игорем Петровичем полный ажур. Говорит: "Отправилась всем отделом"... "Дружим вшестером..." (Яснее ясного! В компании — никаких подозрений. Все — друзья, поддру-ги...")

Я читал телеграмму прямо на палубе. Представляю, с ка-ким выражением лица. На море — семь баллов. Из-за шторма-ги не заметил Кутакова. Вылез откуда-то сбоку и стал горла-нить мне на ухо:

— Что, котует?! (Посочувствовал, кретин!) А вообще-то хромосомы у них у всех одинаковые — у мурманских, у рижских... В Риге хоть жил, как человек.

4 июля — девяносто четвертый день плавания.

Графа Монте Кристо из меня не вышло. Придется идти в оправдомы. Хорошо было Остапу Бендеру, а если я попрусь в ЖЭК? Сразу дадут от ворот поворот. Где опыт? Где стаж? И

вообще, не пойти ли тебе, друг, в школу? И вернется блудный физрук Урусов в родные пенаты — юмор висельника! У меня еще сейчас ноют на правом кулаке костяшки. Никогда не думал, что могу так бить.

Парни сказали, что это у меня от длительного пребывания в море. Не знаю, отчего, но удар мастерский. И все из-за его инициативы. Вчера опять осенило: "Давайте, говорит, работать на сокращенных перекурах". И дальше в своем духе: "Курить, конечно, будем, сколько курим. А это так, для порядочка". Парни были вымотаны, как лошади, и потому никто не стал отвечать — на сокращенных, так на сокращенных, скорей бы доползти до койки.

А сегодня, не знаю, что произошло — хвоста что ли ему накрутил кэп. Неделю не даем плана. Без десяти четыре я снял рукавицы — всегда в это время перекур — хотел заскочить в лавку, — а он меня за рукав:

— Стой, Урусов, а как же почин? — И, главное, держит, будто я за решеткой, а он — охрана. Дальше не помню, как и что было. Я, кажется, брякнул что-то о конституции, а он опять свое: "Кому конституция, а кому — булгахтерия". (Ему, значит — конституция, а мне — бухгалтерия). И потащил обратно, к весам.

Вот тут-то и произошла авария: свернул я ему скулу и напился с горя политуры — премию, пятьсот рублей, как корова слизала. Хата плачет. Институт тоже. И эта еще торшер приобрела. Очаг решила украсить сопостельнику, Игорю Петровичу.

На палубе снова подгребла ко мне Зотовна (мой добрый гений!), взяла под локоть, косенькая, повела в каюту. Хотел я ее послать и даже послал, кажется, а она ноль внимания, а у меня от политуры сил нету, уложила меня и сама рядышком студнем обволокла. А мне-то теперь уже все равно... Утром у себя на койке очнулся, кошелек раскрыл: сколько осталось? Сотен пять? Нет, четыре. Скорей бы в порт. Загужую, свет туши! А этой сейчас же радиограмму отстучу. Все отстучу. О премии. Обо всем. Кончились, подруга, аварии... Отыгрались Егорке крутые горки!

8 июля — девяносто восьмой день плавания.

Получил радиограмму. С перепоя ничего не пойму: "Урусов, что с тобой? Черт с ней, с премией. Чего ты запсиховал? Какой еще сопостельник? Да он мне в отцы годится. Кооператив требует деньги! Загнала все: сапоги — восемьдесят, курпальник — тридцать, халат — пятьдесят, торшер — пятьдесят, лакированный пояс — двадцать, туфли на высоком — сорок, босоножки — тридцать. На толчке — пыльник — пятнадцать. Хозяйка ссудила десять. Касса взаимопомощи — семьдесят. Всего триста девяносто пять рублей. Высылай доверенность — тысячу. Целую. Твоя жена, Лелька.

Чуть не забыла. Пришло уведомление МГУ. Допустили до экзаменов. Урусов, двигай ушами!"

"Раскудахталась: "Урусов, двигай ушами!" Папа с дочкой! Последние желает выудить, падла!"

Нет уж, до порта погодим. Поспешность, она пригодна известно где. А если шмотье действительно реализовала, тогда и объединимся. А кооперация — не Алитет, в горы не уйдет...





Лев МЕЛАМИД

## НОСТАЛЬГИЧЕСКАЯ БАЛЛАДА, или иудейское похмелье

Из Москвы шли открытки с одним и тем же текстом: "Сынок, дорогой! Как ты там? Господи! Чтоб ты был счастлив, а я с папкой скучаем. Сегодня у нас выпал снег. Наступила зима — третья по счету без тебя. Все здоровы, тебя очень любят и помнят. Пиши нам чаще, сынок, и всю правду о себе". Варьировалась только погода, то наступала весна, то осень, потом зима и так далее. Да и счет лет, прожитых без него, тоже менялся. А на обратной стороне открытки были виды Москвы, иногда, правда, попадались Суздаля, Владимира или Прибалтики, в зависимости от тех мест, куда ездили отдыхать его родители в очередной отпуск.

По субботам жизнь замирала в Иерусалиме: религиозные отгораживались полицейскими барьерами от соседних домов или кварталов, многолюдные обычно улицы Яффо и Бен-Иегуды пустовали, а двери и витрины магазинов задергивались железными решетками, нищие расходились по синагогам, и лишь пожилые солдаты Хаги\* о чем-то тихо переговаривались меж собой, прогуливаясь с уютным "Узи" на плече по затихшему городу.

\*Хага — гражданская оборона.

"Отступись, сатана" — отдавалось с каждым шагом в голове. Кудрявые ангелочки подмигивали из окон, заигрывали, легко касаясь его лица своими крылами. Все кругом кишело ими — в тяжелом, мертвящем воздухе Иерусалима было невозможно дышать, лишь дьявольские видения курносеньких лиц носились с пылью и удушающим запахом цветущего миндаля.

Он задыхался, но шел, гнал от себя сатану, отмахивался от ангелочков, продираясь сквозь их нежные, щекочащие кудряшки.

В то время вокруг Москвы лежал снег. Он лежал тяжелым и уверенным грузом на каждой кочке, в каждом овраге, закупоривал кротовые норки и сусличьи. Сквозь него нельзя было пробраться, можно было лишь утопать в нем по горло, по грудь, замереть, словно ель, и ждать, пока снеговая шапка не покроет и тебя, не ляжет на волосы, как на ветку соседней елки. И тихо шелестеть вместе с деревом слова молитвы, белые и чистые, как подмосковный снег, спокойные и ласковые, как затихший заяц в кустах, красивые и гордые, как высокие сосны. Но два белоснежных ангела в овечьих полубашках и тут резвились, хватая с неба снежинки, перебрасываясь ими, словно крепкими снежками, и бесшумно хохоча от радости.

"Господи! — твердил он, поднимаясь по накаленной улице Штрауса, хватая ртом остатки воздуха, — куда меня несет нелегкая!"

Над городом нависло песчаное облако, будто розовая крыша из обливной глазури. Если выстрелить в него, то можно увидеть дырку, оставляемую пулей. И огромное здание Гистадрута\* тоже давило, наступало и двигалось за ним вот уже с четверть часа. Оно не кончалось, гигантские двери с решетками переходили одна в другую, и им не было конца. Сверху свисал серый балкон, готовый рухнуть и подмять под себя все живое. А оставалось еще два квартала — безмолвных и безлюдных квартала святого и мертвого города вверх по последней улице на его пути.

\* Гистадрут — израильский профсоюз.

Он остановился и закурил. Затянулся и вдруг почувствовал — что-то обломилось в сердце. Его левая рука выронила пачку "Тайма". Он попробовал было нагнуться за ней, но еще раз кольнуло в груди. Он прислушался, а биения сердца не услышал. И увидел только, как ангелы подхватили и понесли его. "Воздух, поднимите выше, — молил он, — без воздуха я задохнусь сейчас". И вот уже ангелы подняли его до третьего этажа того дома, куда он шел всю субботу. Положили на подоконник и улетели. Дышать, действительно, стало легче, только сердце не билось, и левая рука безжизненно свисала вниз.

"Я пришел, — думал он, — она сейчас выйдет, нарядная и красивая, та, которую я люблю".

Москва смеялась в сумраке начинающегося вечера. Она дышала свободно и легко. Через часов шесть-семь — "Христос воскрес".

"Воистину воскрес!" — захлебнется от восторга Елоховка и церковь Воскресения. Дивно и сладко будет в Москве часов через шесть-семь.

А он лежал на подоконнике, терял сознание и приходил в себя, ни дуновения, ни ветерка не приносила погода. Он смутно видел ее и впрямь красивую, высокую. Еврейка приближалась к нему, склоняла свое лицо и покрывала черными волосами. Она плакала, а он смеялся, думая, что тянется к ней левой рукой. Она отталкивала его.

"Господи! Мне бы только поцеловать. Дьяволенок, сатана, Господи Боже, еще секунда, и я умру".

Она толкала и толкала его все дальше от себя.

"Ой! Я нечаянно!" — И Иерусалим проснулся вдруг от ее страшного голоса.

А из Москвы шла очередная открытка: "Сынок, пиши всю правду..."

\* \* \*

Час езды в автобусе приучает к духоте. Свыкаешься с бессмысленной гонкой по узеньким улочкам, с тихим колоколь-

чиком на остановках, привыкаешь вглядываться в круглые, обтянутые дерюгой девственные животы, и с каждой минутой все понятнее становится перешептывание соседей с заднего сидения. "Эники-беники ели вареники". И отвечают: "По улице ходила большая крокодила". И размеренное, левантийское спокойствие нависает над Эдемом, застывая на уровне второго этажа и окутывая весь сад непроглядной пеленой удушья. Лишь частые, пугающие своей беспечностью взрывы, нарушают покой и заставляют невольно вздрогнуть такого как я пришельца.

\* \* \*

Каждый день мой начинается с восходом солнца. Разбуженный упорным и просящим тьяканьем, я выхожу во двор, где меня уже ждет толстозадый щенок, начинаю утренний моцион омовением в еще прохладном и ласкающем воздухе пустыни. Потом и я приветствую щенка, вынося большую и крепкую куриную кость, и наблюдаю за его веселой игрой. "И какое чудо забросило этого пса в мой пустынный край, — думаю я, — какая злая судьба наплетена ему свыше". Но вот и щенком овладевает усталость, и он начинает сосредоточенно разгрызать кость. Покончив с ней, не оставив ни крошки, он подходит и кладет свою голову на мой тапок. Так и стою я в оцепенении до тех пор, пока утренняя прохлада не улетучивается и жара не вступает в свои права. Потом я иду к себе, а пес исчезает до следующего восхода.

\* \* \*

Дорога, покрытая древним и потрескавшимся асфальтом, плетает в человеческий рост скалах, блестит извивающейся лентой, спускаясь и поднимаясь в горах, словно ищет в них выход к морю. И я вместе с ней ищу глазами этот заветный кусочек жизни, потом начинаю осторожно переступать через вади, валуны и расщелины и, наконец, распалась под зноем библейской экзотики, несусь напрямик, будто сошедший с рельс поезд, занесенный на крутом повороте и терпящий крушение. Крушение — ибо, взобравшись на гору, я вижу перед собой новую цепь таких же гор, и лишь в просветах между ними матово голубеет что-то: может, и вода, а может быть, это и все равняющий горизонт.

Выбираться надо было немедленно. Предупреждающие сводки по радио, пугающие обывателя слухи и самоуверенная ложь правителей сделали свое дело. Я в панике поддался общему настроению и влился в свистящую и поющую толпу. Она понесла меня, стиснув своей бессмысленной радостью, к темному и сужающемуся проулку, пронесла сквозь него, выбив сигарету изо рта, и, благодарение Бога, встала. Мы очутились на площади, огороженной щитами и надписями, как вдруг оглушающий вопль из микрофона пронесся над толпой; где-то заплакал ребенок, а я, придавленный страшным звуком, упал на колени.

"В очко мы выиграли, в сто десять выиграли, в пятьсот одно выиграли и в тысячу выиграем!!!.."

И в ухо мне зашептал кто-то: "Вон тот профессор, в черных штюблетах, изумительно играет на виоле, — на виолончели, не понял я, — ну да, на скрипке такой". "Это тот, который сейчас говорит" переспросил я. "Да, да, не мешай слушать, он очень умный".

А после профессора говорил бородач, обутый в сандалии на босу ногу. За ним выступила поэтесса из нашенских, микрофон прогенерировал тысячами герц о морали, чести и братстве, и церемония окончилась. Тогда снова толпу сняло с места, и в том же порядке меня привело до дома. А, засыпая, я со страстью и с еще неостывшим восторгом проклинал радио, обывателя и правителей.

\* \* \*

"Не будете ли вы так любезны, — говорил я, разумеется, на иностранном языке, — одолжить мне до завтра десяточку".

Мой босс, пожилой мужчина, являющийся каждый день на службу в одном и том же костюме какого-то странного, бежевой мути, цвета, удивленно вскинул глаза. Все-таки обращаться к начальству с такой просьбой диковато. А дав десятку, потускнел, то ли почувствовал себя втянутым в

подозрительное дело, то ли просто так, как бы огорчившись за себя. Но от того стало совсем тоскливо, и лишь опустошающая безнадежность с еще большей силой, словно саданув меня по внутренностям, окутала своей пронизывающей затхлостью. Так что расхотелось и выпивать и гулять по солнечному граду.

Вернувшись к себе в комнату, я долго сидел, подперев рукой голову, и смотрел в белое пятно напротив на стене, пока оно не исчезло, а голова со стуком не свалилась на стол. И приснился сон.

Знакомая улица; скрипящий тормозами трамвай, спускающийся с самой крутой горки Москвы, и какой-то человек, похожий на меня, цепляется за подножку. А я стою в стороне и вроде порываюсь подбежать к нему и помочь, так как один вижу, что он вот-вот сорвется, но чувство непонятной стыдливости мешает мне, будто бы неприлично оказывать услугу, когда об этом не просят. Наконец, человек падает на землю, собирается толпа. Из окна дома, в котором я живу, высывается мама и в ужасе кричит, но, увидев меня невредимым, начинает плакать. "Я так испугалась, думала это ты, — говорит она мне, когда я уже дома успокаиваю ее, — меня весь день мучило предчувствие, что сегодня что-то должно было случиться". А к обеду приходит папа с работы, и мы садимся разбирать марки. Вечером же я иду на улицу смотреть замываемое пятно крови на мостовой.

И весь сон мучило меня сознание вины, что я не спас того человека, хотя мог. С тем и проснулся, с тем и вышел на улицу после окончания рабочего дня, а босс, увидев меня пошатающегося, растрепанного, со следами сна на лице, неодобрительно покачал головой и, видимо, еще раз пожалел, что дал десятку.

\* \* \*

Сiju, словно вор, и ворую "Голос Би-Би-Си". Слово вор, схоронившись от посторонних глаз, и по ночам слушаю то, что предназначено не для меня. А там программу музыки

"Поп" накручивают. "Отчего тебе не спится?" — спрашивает жена. "Кровавые мальчики в глазах", — отвечаю я. "Это Пушкин, — снова доносится ее голос из кухни, — как он там?" "А что там может быть нового... Предсказывают, что в сентябре Пусинькер в Монголию поедет".

— Какие же они дураки!?

— Да ну их в задницу.

— Неужели они ничего не понимают! Ух, я бы их всех повесила.

— Ну и повесь.

— Ты пойдешь спать? — еще раз спрашивает жена.

— Пойду, только налей мне кофе, пожалуйста.

Громадная луна, словно повязанное платочком солнце, бросает стальные блики в окно, и я при выключенном свете продолжаю украдкой таскать из приемника русскую речь.

\* \* \*

Пообвыкнув, можно приступить к чтению вывесок. Справа налево вдоль дороги тянутся надписи, но успеваешь схватить лишь по букве из каждого слова да запомнить фирменные знаки всех встречающихся магазинов. А потом в еженедельном конкурсе на лучшего знатока местной рекламы попытаться счастья — но вот беда, эмблема фирмы знакома, а названия не знаешь, не успел прочесть.

И так вот живу, а:

**Гуляя, он на деревьях**

**Повсюду надписи встречает.**

**Он с изумленьем в сих словах**

**Знакомый смысл замечает;**

**Невольный страх его влечет...**

и, подпортив пушкинский стих, брожу я подстреленным Орландо, ослепленный солнцем, по жарким пескам и райским садам, чтобы:

**Стараясь разум усыпить,**

**Он сам с собою лицемерит,**

**Не верить хочет он, хоть верит,**

.....  
**Что вензеля в сей роще дикой**

**Когда-нибудь прочтет и он.**

Но не умею я ни читать, ни писать, ни говорить и не е...ть на этом иностранном языке —

**(Эйнени едея ликро биврит,**

**Эйнени едея лихтов биврит,**

**Эйнени едея ледабер биврит**

**Вэйнени едея лидфок биврит.)**

И будут преследовать меня всю жизнь эти четыре "эйнени едея".

\* \* \*

И вдруг все внезапно рушится, кажется, будто я провалился в бездну страшного сновидения со своей неоспоримой логикой быстрых кадров и невозможных перевоплощений; проснувшись же, ощущаешь себя во власти недавних воспоминаний и близких лиц. А из радиоприемника подступает комом к горлу знакомая мелодия солнечного Азнавура. И то, что спасало там: пройтись по улицам, лавируя в подвыпившей и пахнущей хлебосольством толпе, вглядываться и узнавать вчерашнюю лавочку, переставленную в соседний палисадник, и вслушиваться в журчание подтротуарного ручейка, несущего твою сигарету аж до самой Трубной, — здесь не поможет. Нет того обыденного чувства своего и прожитого, а есть лишь вольный свет древнего солнца, возбуждающий, но не успокаивающий, пробуждающий надежду, но только не спокойствие. И то, что бывало там: бессмысленная перепалка между мною и пьяным мужиком со сдвинутой набекрень ушанкой, — превращается здесь в столь же бессмысленный разговор с лихим усачом в щеголеватой кепке.

— Ты чего бороду не сбреешь? Не идет она тебе.

— Да так.

— Откуда будешь?

— Оттуда.

— Ну как? Ох, и му...ки же мы с тобой, я, знаешь, уже четыре дня хожу, на кнопку звонка нажимаю, а ответа никакого. Да им-то что, наплевать! Эх, что говорить... там кило колбасы сколько стоило? А тут! Там море под боком было, и море какое — Серое! А здесь?

— Ну море-то, положим, здесь лучше будет.

— Да что ты знаешь! Ты бывал когда-нибудь на Сером море! Мне всего-то было полдня на поезде, и я хоть неделю загорать мог. А, да там я деньги имел, чтоб когда их считал.

— И корова своя была?

— И корова, и птица, и два поросенка держал на откорм, даже пудель по саду бегал. А баб! Ко мне по четвергам специально приезжали, понимаешь?..

— Ну и как?

— Жену к теще отправлял.

— Бабы и здесь есть.

— Тошние они, не по мне.

— А, иди ты к черту, — говорю я, отмахиваясь от него, как от наваждения.

— Давай, давай, пижон, только бороду сбрей, — кричит он мне вслед.

Но райская идиллия уже дала трещину. Будто вставленный деревянный клин, поливаемый водой, живет во мне полыхающее на солнце воспоминание, и откалываются иллюзия за иллюзией.

\* \* \*

Но песня все поется и отдается той же мелодией в голове. Она шумит и тогда, когда я сплю, когда прислушиваюсь к чужим разговорам и когда включаю радио. Говорят, от этого свихнуться можно.

Слепнуть же я начал давно, еще при первом соприкосновении с местным солнцем. Кто-то сказал, что теперь уже ничем не поможешь, только разве освещенность опять менять.

#### (СКАЗКА)

На обочине дороги из Ашдода в Беер-Шеву за одну ночь вырос дом. Большой каменный дом и с оградой. Представить себе трудно! Вчера проносились экспрессы, и никто внимания не обращал на это место, такая же однообразная обочина, как и везде, а сегодня — шикарный дом, и даже остановку авто-

буса не позабыли сделать. Больше всех, конечно, удивлялись шофера — они-то каждый день по этому маршруту ездили. Но вот, как ни странно, никакого своего мнения на этот счет не высказывали. И удивлялись-то в основном тому, для чего это остановку здесь делать надо было.

А через три дня строение исчезло, не стало и ограды — только врытый в землю столб остался, да жестяной прямоугольник с буквой А посередине на нем. И еще многие годы этот указатель автобусной остановки болтался и хлопал на ветру, будто винтовочный выстрел, пока не отвалился совсем. Все успели позабыть дом — да и помнить могли одни шофера, ибо они только и обратили тогда на него внимание, — позабыли, и когда это было, и где. Лишь приметен был торчащий столб на обочине. Но никто никогда не выходил тут, потому водители не притормаживали, а гнали свои машины мимо, не снижая скорости.

И вот на этом самом месте, спустя два-три года, солнечным осенним утром над головой водителя автобуса раздался звоночек и загорелась надпись "стой". Шофер резко затормозил и зло прокричал: "Ну скорее, кому еще здесь понадобилось сходить!"

— Я, я,— засуетился молодой человек с портфелем-чемоданом и быстро соскочил по ступенькам на шоссе. В ту же секунду поднялись клубы пыли и все скрылось за ними. Молодой человек оглянулся, ожесточенно почесал в затылке: "Э, дьявол! Да я не там вышел! Фу ты, черт, теперь жди следующего автобуса, когда он еще придет". Но делать было нечего, и молодой человек спустился с шоссе на обочину в поисках какого-нибудь плоского камня, чтобы устроиться на нем поудобнее и не ждать стоя. О тени же и думать не приходилось, потому как место было ровное и без единого деревца. Он походил по обочине, потом спустился еще ниже, где камней было больше, и выбрал, наконец, подходящий.

Внезапно его внимание привлек черный предмет, валяющийся невдалеке. Молодой человек долго ленился встать с пригретого им камешка, но все же любопытство пересилило,

и он приподнялся и, встав на колени, дотянулся до рваного кошелка, отчего-то очень знакомого юноше. Вдруг он вспомнил, что кошелек точь-в-точь такой, какой был у него, и который он потерял на второй день по приезде в Израиль. Молодой человек поразился такому сходству и с интересом стал разглядывать черную потертую кожу, как заметил, что из одного карманчика торчит уголок пожелтевшей бумажки. Он осторожно достал ее, разглядел и увидел совсем неожиданную вещь; на бумажке было написано русскими буквами:

**"задумай желание, и оно будет исполнено".**

"Вот тебе и раз, — подумал юноша. — Какое совпадение! И кошелек такой же, как у меня был, и хозяин его тоже из России". Он еще раз прочел — написано было в одну строчку ровными печатными буквами и, казалось, звало откликнуться.

"А что, почему бы и нет, вот задумаю сейчас желание, чтобы был у меня миллион — и сразу он объявится, скажем, под тем камнем... а потом начнется, сообщать в полицию, налоги и т.д., и от миллиона останется шиш... хлопот не оберешься. Нет, вправду, что бы загадать? Пусть будет город заложен, как в известном стихе. Нет, тогда равновесие израильской экономики от такого шока совсем разрушится. Не хватало ей еще одного города, когда и поселения-то с трудом содержатся. Да... Вот сейчас загадаю, чтобы жена ко мне вернулась! Приезжаю домой, а там она... ох, и крику будет..."

И вдруг, совершенно неожиданно для себя, молодой человек схватил листок и написал на нем, прямо под надписью: "хочу знать, чей это кошелек?"

Написал и откинулся на своем плоском сидении, упершись руками в землю. Взгляд его опять упал на кошелек, и решил он тогда тщательно проверить содержимое его карманчиков. Но каково же было удивление молодого человека, когда он обнаружил в одном из них сложенный вчетверо лист, на котором было написано следующее:

"Этот кошелек принадлежит тебе. А история такова. Если ты помнишь, то на второй день по приезде в Израиль ты подумал — о, это даже не подумал, а очень отчетливо предста-

вил себе каменное строение в пустынном месте, себя там, проносящиеся машины по шоссе рядом, кругом тобою возделанные поля... Помнишь? Это была твоя очень сильная мечта, такая сильная, что она и претворилась в реальном мире, на этом месте. Тогда же ты и потерял этот кошелек, который вместе с твоей фантазией тоже попал сюда. А через три дня ты уже позабыл — увлекся ссудами, холодильниками и увидел другой Израиль. Потому твой дом исчез так же внезапно, как и появился, и никто на то не обратил внимания. Ну, а кошелек остался тут догнивать".

Молодой человек несколько раз прочел все, потом аккуратно по тем же складкам сложил лист вчетверо, вложил его в тот же карманчик и забросил кошелек далеко в пустыню.

"Чушь какая-то! В Израиле от жары еще не то пригрезит-ся", — пробормотал он в сердцах.

\* \* \*

Всю жизнь прожить хмельным. И не просыпаться по утрам, а очухиваться и с удивлением замечать вокруг себя новые лица, чужие глаза и прекрасные тела. Хватать со стола недопитый с вечера стакан пива и ждать прихода мужества, чтобы всех прогнать... И еще чуть-чуть поддать, совсем немножко, чтобы было не холодно вставать с постели, подойти к книжной полке и там сквозь туман и белые шарики перед глазами увидеть синий том Блока... и чтобы играла пластинка сороковую симфонию Моцарта и только ее...

А если случайно взглянуть в окно — туда, где непонятной и совсем чуждой тебе чередой тянутся горы и пески, — то сразу бежать до холодильника, до нижней полки с бутылками. Пластмассовой с животным маслом, витой, литровой из-под кока-колы, узкогорлышной из-под гольдстара и заветной с экстра-файн. А лучше не смотреть в окно. За окном — горы и любовь, они ходят обнявшись и вызывают зависть у таких вечно хмельных, как мы. Лечь! Укрыться с головой...

А там: душа уйдет в пятки, когда десятая война обрушит дом мой и снизу вверх полоснет ножом; глаза завяжут и вы-

ведут в пустыню, с которой вся кровь видна — там с новой женой, топча душистый виноград, мы проиграем сцену из Суламифь и Соломона...

И в ядовито-желтой комнате закончится роман, к которому вела судьба столь запутанной дорогой: через несколько стран, по воздуху и по морю, из холода в жаркое пекло, от родных и друзей — к Тебе, милая...

Писать во хмелю, задыхаться в нем и больше никогда ничего не замечать вокруг.

\* \* \*

"И душа его приближается к могиле и жизнь его к смерти" (Иов. 33, 22).

Вот и подходят дни мои к концу. Открыл я Библию наугад и выпало: "...душа его приближается к могиле... жизнь его к смерти" — из книги Иова.

А. Она парила ноги. "Для чего?" — спросил я. Она не сочла нужным ответить. В пластмассовом зеленом тазу, в прозрачной и тихой воде ее ноги становились еще стройнее. Она склонилась над тазом.

— Что ты делаешь? — опять спросил я. И опять не получил ответа. Она ухмыльнулась, и в руках блеснуло лезвие бритвы.

Вода в тазу краснела, темнела и становилась цвета свекольного сока. Ее лицо светлело и добрело. Я видел подъем ее ноги и блестящий красный лак на ногтях. Она срезала мозоли. А потом я выливал кровавую воду в унитаз.

Б. На моих поминках будет грустно. А соберись все мои бывшие друзья — было бы иначе. Каждый напился бы в одиночку и чувствовал бы меня, будто примостившегося где-нибудь в сторонке, наблюдающего за всеми и тоже, конечно, напившегося.

— А что, Левус, разве я не прав? — иногда обращался бы кто-нибудь ко мне.

— Прав, — злобно отвечал бы я, и все понимали бы, что меня лучше не трогать.

В. Поэт А. Любяр Лозино-Лозинский утверждал, что вешаться надо торжественно. Но в этих чертовых меблированных квартирах, сданных хозяевами с многочисленными оговорками и предупреждениями — что можно, а что нельзя делать, — рука не поднимается взять молоток и забить крепкий крюк в потолок. А хозяева, а материальный ущерб, а залог в 5000 лир, оставленный чеком у адвоката...

Но я придумал, не портя хозяйского имущества, отвинтить болт в притолоке, подсунуть шелковый шнурок и завинтить обратно до упора. Как в вилке от электроприбора провода подсоединяются к штекеру.

Г. Мне кажется, что это ласточки. Они, с узкими, оттянутыми к хвосту крыльями, одна за другой кружат у моего окна и ударяются о жалюзи. Я выглядываю наружу, ищу гнездо. Но птицы в бешенстве носятся в преддверии наступающего хамсина. Подступает духота, ласточки норовят спикировать мне на голову. Я тяну за шнур, и давно не польвованные жалюзи со скрипом лезут вниз. О! Ужас! Я слышу хруст костей и писк птенца — Господи, нашли, где устроить гнездо...

Д. Иерусалим — это жизнь без образа, без звука.

**Город бесстрастный,  
Где все, что случается,  
Видимость жизни одной.**

Иерусалим — это город, где душа черствеет. И не поэтому ли старые доиерусалимские друзья расходятся. А молодые, московские девочки, приезжая сюда, грубеют. Им более не притягательны добрые слова и ласка, а злобная усмешка и волосатая хватка разворачивают их души.

**Город без страсти,  
Сухой и пустынный,  
Где даже от горя  
Не плачут глаза.**

Иерусалим — это окраина с видом на Иудейские горы. Первый год все восхитительно: и переходящий от одной вершины к другой горизонт, и белый известняк по холмам, заросшим колючками, и обломки древних каменоломен. Во второй год кажется, что в трущобах старого гетто и под

навесами рынка в Старом городе пахнет особенным, божественным нектаром. А в третий год— откуда ни глянь — пустыня, выжженный песок и ни одного камешка, который запомнился бы на всю жизнь.

**Город бескрайний,  
Спокойный и вечный —  
Кем ты пробудишься**

**Под грозный и трубный глас?**

Но только тогда, когда над городом собираются тучи, становится и страшно, и грустно, и трепетно. Каждое облако хочет задеть своим набухшим брюхом, сбить с ног и сплющить своей тяжестью. Оно пронесится над головой со злоеющим предзнаменованием в красном багрянце заходящего солнца. Оно своей ужасной пастью заглатывает соседнее облако и бурчит от наслаждения. Оно и пророк Илья, и рыкающий лев, и вся геенна огненная одновременно.

**Город бесстрастный,  
Где все, что случается,  
Смерти подвластно одной.**

\* \* \*

"Я — римский мир периода упадка..."

И когда отнимается одна нога, а по другой страшной язвой расползается неведомая между людьми болезнь,— тогда пристало время начать писать эти записки: пожелания, откровения и печальные письма.

**"Душе со скуки нестерпимо гадко".**

И когда говорят, и среди — полюбившаяся тебе девушка — что скучно с тобой, тогда приходит пора готовить завещания.

**"О, не хотеть, о, не уметь уйти!"**

Но когда та же девушка говорит, что твой вид печален,— тогда уже наступает момент позаботиться о веревке с мылом.

Самое же страшное, когда тебя твой ребенок перестает называть папой, а кличет по имени — тогда "лишь стих смешной, уже... в огне".

Но Верлен назвал этот стих томлением, а я воспринял его согрешением. Ибо один страх: согрешить — останавливал меня и будил к жизни.

Вот она, последняя строфа верленовская:

**Лишь стих смешной, уже в огне почти,  
Лишь раб дрянной, уже почти без дела,  
Лишь грусть без объяснения и предела.**

\* \* \*

Смешной и кощунственной смотрится моя жизнь.

Вот она повернулась ко мне лицом и состроила глазки, повела бровями и прошептала что-то нежное. А на следующую ночь поворотилась спиной и снисходительно позволила прижаться к себе. На завтрак она выделила мне салат из помидор и крутое яйцо, на обед сварила овощной суп и поджарила свиную отбивную, полдничать заставила клубничным пирогом с чаем, а на ужин уставшим и злым голосом позвала отведать рисовой запеканки в яйце и тесте. Потом подседа на диван, сложила руки на коленях, посмотрела немножко телевизор вместе со мной и огорошила неожиданным: "Вон!"

И осталась на столе раскрытой Библия: "Не предавайся греху и не будь безумен: зачем тебе умирать не в свое время?" (Еккл. 7, 17). А на другом конце стола позабытым валялся старый негатив — еще той, допредельной моей жизни, из которой я ушел тогда и ухожу теперь.

\* \* \*

Самое главное — это суметь дожить до последней фразы.

И не приведи Бог, помереть где-нибудь на середине ее, чтобы потом другие многоточиями приводили бы в порядок твою оборванную мысль. А как радостно смотреть на поставленную точку в конце, на одну-единственную точку — завершающую и непреступную, за которой есть лишь одно небытие неведомой нам бесконечности. Тогда и прощание с жизнью проходит торжественнее и величавее: чинно двинется толпа



во след твоего гроба, а какой-нибудь благообразный старец скажет, что почил мудрец праведником, ибо Господь дал ему время на все его земное.

Но вот где она — эта фраза, которую можно было б назвать последней?!

А ты говори или пиши. Ставь точки, отмеряй ими жизнь и не умолкай — пусть язык не отсохнет и перо не притупится. Пусть за словом следует слово, за предложением предложение, за рассказом рассказ. Когда же слова перепутаются, а фразы станут повторять одна другую, и рассказ превратится в нечленораздельный плач — тогда и скажи себе, что это конец.

Приставь пистолет к виску, накинь петлю на шею, положи яд под язык. И нажми на курок, выбей скамью из-под ног, заглоти пилюлю — вот это и поставится тебе последней точкой.

\* \* \*

"Видно, мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических..." (из письма Пушкина к Д.) И поскольку душа вечна и переселяется из тела в тело, то моя витала когда-нибудь бездомной вместе с бессмертными душами Орфея и Эвридики. Я помню, как Орфей обнимал меня и говорил: "Друг мой, это было невозможно, не обернуться, — мы прогуливались тополиными аллеями, со Стикса тянуло приятной прохладой, обычно бурный, на этот раз водный поток был тих и спокоен, — я знал, что это безумие! искать ее в темных переходах от царства мрачного Аида к свету. Но свет уже брезжил, я испугался, вдруг она отстала, ни дыхания ее, ни шепота не было позади... Я плакал потом и отчаивался, но теперь нам хорошо, мы вместе, и к чему нам плоть".

"Да, дорогой", — отвечала Эвридика.

Потом я пил с Моцартом, и он разъяснял мне значение своей сороковой симфонии. "Это было желание оторваться и, прости меня дружище за высокопарность, воспариться. Но после первой части я устал и стал думать лишь о смерти".

.....  
Ну и к черту! Пора, дорогие друзья, и мне приниматься за дело.

А из Москвы шла очередная открытка: "Сынок, пиши всю правду..."

---

О. ОХАПКИН

## В БРОНЗОВОМ НАШЕМ ВЕКЕ

### ВОЛЯ К МИРУ

Я у Ангела мира прошу,  
Поврежденный десницей его.  
Смертной дрожью, сражаясь, дрожу,  
Кроме смерти уже ничего

Пред собою не видя. И он,  
Приступивший с железом ко мне,  
Вынимает последний мой стон  
И бросает меж диких камней.

И вдали затихает душа,  
Устремленная к жизни иной.  
И смотрю на нее не дыша,  
Как сольется она с тишиной.

Иссеченная в гневе мечом,  
Над кремнями склонилась она,  
И звезда искривленным лучом  
Чуть струится в пространстве без дна.

И комком подступившая тишь  
Обжигает пронзенную грудь,  
Да в глазах непроглядная тушь  
Покатилась в назначенный путь:

По щеке, по щеке, по губе  
К подбородку и дальше во тьму...  
— Человек, благодарствуй судьбе!  
Не смиришься, и душу возьму.

И восстал я от грусти смирен  
И воздвигнут увидеть вдали  
Край небес в исполнении времен  
За кровавою кромкой земли.

И воскликнул в высокой душе:  
Боже, как хорошо умирать,  
Если вижу за смертью уже  
Волю к миру, не в силах унять

Эту жизнь, что была мне, и вот  
Возвратилась на круги своя  
И живет, все живет и живет,  
И на это есть воля Твоя!

1975.

**БРОНЗОВЫЙ ВЕК****С.С.**

На Галерной чернела арка,  
 В Летнем тонко пела флюгарка,  
 И серебряный месяц ярко  
 Над серебряным веком стыл.

**А. А.**

Красовицкий, Крёмин, Уфлянд,  
 Глеб Горбовский, Соснора, Кушнер...  
 Макинтошами, помню, устлан  
 Путь Господень в живые души.

Рейн да Найман, Иосиф Бродский,  
 Дмитрий Бобышев да Охепкин  
 Наломали пред Ним березки,  
 Постилали цветов охепки.

Ожиганов, Кривулин... Впрочем,  
 Дальше столько пришло народу,  
 Что едва ли строфу упрочим,  
 Если всех перечислим сряду.

Куприянов Борис да Виктор  
 Ширали... Стратановский, кто же  
 Не вспомнят о них! Без них-то  
 Было б грустно. Скажи, Сережа...

Чейгин, Эрль... может, Лён иль кто-то  
 Из других: Величанский, либо  
 Кто еще, но открыл ворота  
 Всей процессии. Всем спасибо.

И когда Он вошел в сердца нам,  
 Мы толпою пред Ним стояли,  
 Но дружиною стали, кланом,  
 Чуть бичи Его засвистали.

Он исторгнул из Храма лишних,  
 Торговавших талантом, чтобы  
 Воцарился в сердцах Всевышний,  
 А в торгующих — дух утробы.

И пошли по домам поэты.  
 Те, кто Бога встречали — с миром,  
 А купцы разбрелись по свету  
 Золотому служить кумиру.

Разбрелися по всем дорогам,  
 Приступили ко всем порогам,  
 И на бронзовосерых лицах  
 Тихо бронзовый век горел.

На Галерной пылала арка,  
 Доносились битлы из парка,  
 И на жарких старинных шпичах  
 Летний зной день за днем старел.

А по набережной блокадной  
 Той походкой слегка прохладной  
 Горемык, стариков, калек  
 Двадцать первый маячил век.

Век железный. Теперь уж точно.  
 Но в него мы войдем заочно.  
 Нас раздавит железом он —  
 Век-машина, Число-закон.

Но поэзии нашей бронза  
 Над машиною встанет грозно,  
 Серафически распластав  
 Огнецветный души состав.

И над веком Числа незримо  
Шестикрылого серафима  
Отразит глубина сердец.  
Так велел ей времен Творец.

И вспомнит нас новый Ньютон,  
Ломоносов, Державин в лютой  
И железной своей тоске.  
Мы не строили на песке.

Мы стояли на тех гранитах,  
Где священная речь убитых  
Ваших пращуров, наших лир  
Освятила грядущий мир.

Но в жестокие наши годы  
Мы слагали вот эти оды,  
Возводили алтарный свод,  
Где Глагол к нам сходил с высот.

Это в бронзовом нашем веке  
Совершилось. Пришелец некий  
Босоногий меж нас ходил.  
К вам доходит лишь дым кадил.

И за это видение Слова  
Нам досталась такая слава,  
О которой судить не нам.  
Жизнь дается по именам.

Им еще прославляться рано.  
Но, что делать, когда так странно  
Открывается книга тех,  
Кто из мертвых восставил стих.

Эта бронза еще в расплаве.  
Но ваятель отливку вправе  
Совершить на хозяйский глаз.  
Помяните, поймите нас!

Мы пройдем, как пред нами те, кто  
Назначал нам пути и вектор.  
Но пройдете и вы, кто там  
Настигает нас по пятам.

Это все, что хотел сказать я.  
Впрочем, все стихотворцы — братья,  
И в железное время то  
Не осудит меня никто.

Я восславил не столько неких  
Современников, сколько речь их,  
На которой легла печать,  
Приучившая нас молчать.

Бронзовеющий стих надывав,  
Я гляжу, как друзья на дыбах  
Постаментов молчат и ждут  
Послабленья. Напрасный труд.

Быстротечен их век и тесен  
Круг назначенных Богом песен.  
Все, чему суждено греметь,  
Им придется в молчаньи петь.

Лишь тогда отдохнут от бронзы,  
Как начнется эпоха прозы.  
Эх, поэзия! Грезы, розы...  
Русской лиры прямая медь.

**ПРОРОК**

В пустыне вашей нищеты  
 Среди камней, как смерть бесплодных,  
 Я тридцать лет был ввержен в стыд  
 Свирепых лав и ловль голодных.

На мне истлел цветной хитон,  
 Испепелен огнем и потом,  
 Утробу искорежил стон,  
 И рот сведен алчбою лютой.

Я уподобился волкам,  
 В разломах скал вседневно рыща,  
 Пугая бездну, как вулкан,  
 Рычаньем над кровавой пищей.

Опустошая сердца дух,  
 Я выл жестокими ночами,  
 Как дикий зверь рыдая вслух,  
 Но камни черствые молчали.

Тогда я стал их раскалять  
 Огнем речей моих палящих,  
 Пока не треснула их гладь  
 В кровище недр, как барс храпящих.

Я корчевал за кряжем кряж,  
 Тряся, грозя, дробя и руша,  
 Нагромождая пепла дрожь,  
 Сжигая собственную душу.

Но, и оплавленные, все ж  
 Они остались только грудой,  
 Куда вонзай хоть самый нож —  
 Лишь обдерешься о породу.

И Ангел, видя с высоты  
 Мои напрасные старанья,  
 Изверг меня моей тщеты  
 И зренье мглы потусторонней

Мне даровал и два крыла,  
 Подъявшие меня над долом  
 Туда, где жизнь моя была  
 Уже провидческим глаголом.

И узрил я: из-под камней  
 Забил живительный источник,  
 И ветки тонкие ко мне  
 Простер миндаль цветущий, сочный,

И, чистой влагой напоен,  
 Принес плоды свои пустыне,  
 Где я лежал испепелен  
 Глагола Вечного устами.

Там голос Господа летал  
 Подобно молнии гремящей:  
 Смотри! Я тварь Мою питал  
 Твоею кровью настоящей.

1975.

Алексей ЦВЕТКОВ

## В ЭТОМ РИМЕ Я НЕ БЫЛ КАТОНОМ

когда споем на берегу  
сигнальная труба  
посеют в поле белену  
ударники труда  
трубач сыграет молодой  
лиловые уста  
и время выпрямит ладонь  
фалангами хрустя

мы были втянуты вчера  
в опасную игру  
звонит на пасеке пчела  
медведь рычит в бору  
звезды оптический намек  
молочная кутья  
на трубаче пиджак намек  
от медного дутья

трубач рождается и ест  
и времени полно  
но генералом этих мест  
останется оно  
никто в природе не умрет  
в отмеренные дни  
пока часы бегут вперед  
пока стоят они

\* \* \*

воспоминая о погромах  
под исполкомовский указ  
в больших петуниях багровых  
бывали праздники у нас

мы выходили по тревоге  
изображая без вины  
кристалл германия в триоде  
где дырки быстрые видны

с утра садилась батарейка  
сползал родительский пиджак  
и мертвый завуч крамаренко  
в зубах петунию держал

в оркестре мельница стучала  
земля ходила ходуном  
другая музыка скучала  
в порожнем сердце надувном

мы перли в адские ворота  
под оглушительный металл  
и мертвый завуч как ворона  
в зените с песнями летал

\* \* \*

в этом риме я не был катонем  
и по-прежнему память мила  
о заброшенном сквере в котором  
приучали к портвейну меня

но когда по стеклу ледяному  
проложили маршрут на урал  
мне на флейте одну идиому  
милицейский сержант наиграл

я пытался на скрипке в октаву  
только септимой скреб по струне  
как со шведским оркестром в Полтаву  
гастролировал я по стране

из одной всесоюзной конторы  
намекнули в избытке души  
не годишься ты парень в катоны  
но и в цезари ты не спеши

я простился с невестою олей  
корешей от себя оторвал  
потому что в период гастролей  
не умел удержать интервал

потому что за дальним кордоном  
где днепровская плещет вода  
преуспел я в искусстве в котором  
я катонем не слыл никогда

\* \* \*

беззвучный рот плерома разевает  
по именам предметы вызывает  
пора природу мыть и убирать  
давайте понемногу умирать

а мы ночлегом заняты под утро  
не чуя в пищеводах пирамид  
как медленная медная полундра  
по кегельбану млечному гремит

мерцает воздух в шепоте крысином  
в проем ворот нацелено бревно  
не камни мы но с нашим керосином  
и худшее проспать немудрено

в ночной казарме душно и матрасно  
стучит будильник глуше и скорей  
железный век устроенный напрасно  
срывается с шумерских якорей

ах белочка росинка одуванчик  
мачтовый лес зажмурься и обрежь  
все собрано в казенный чемоданчик  
и нет слюны заклеить эту брешь

\* \* \*

рано утром над рекой  
слышен топот конский  
дует в долгую трубу  
храбрый инвалид  
семафорит палашом  
герцог веллингтонский  
бонапарта сей секунд  
победить велит

император александр  
крепко держит слово  
зря не мелет языком  
словно канарей  
он загнал свои войска

аж под ватерлоо  
чтоб совместно защищать  
братских королей

государь хорош собой  
и любим в народе  
он монархам всей земли  
как братан родной  
наливает меттерних  
графу нессельроде  
за победу говорит  
ебнем по одной

бонапарт своих штабных  
материт безбожно  
пушки ядрами плюют  
кровь бежит рекой  
nessельроде не дурак  
за победу можно  
но нащупал артишок  
бдительной рукой

на елене на святой  
меблируют домик  
узурпатору хана  
нанесли урон  
вы пожалуйста в париж  
гражданин людовик  
возведите организм  
на бурбонский трон

меттерних упал в салат  
спирт шибает в бошку  
nessельроде кличет баб  
рад прилечь с любой

аракчеев достает  
хохломскую ложку  
ест ботвинью из ковша  
некрасив собой





Марина ГЛАЗОВА

## БЕЗУТЕШНЫЕ ВОДЫ ВЕШНИЕ

Листья жаловались, падая.  
Листья с веток отряжали  
и, взмолившись в небо ветками,  
ничего не понимали  
одинокие деревья.

И шуршали листья: "Брошены..."  
И шумело что-то в ветках.  
И волнение было общее.  
И недоумение ветхое.

И глазели, проплывая,  
облака на ветки голые.  
И друг друга обвиняли  
листья с ветками за многое.

1974

## БЕЗУТЕШНЫЕ ВОДЫ ВЕШНИЕ

79

Мы пили чай и слушали пластинки.  
И там в чаю несчастные чайники  
пытались всплыть и не пойти на дно.  
С одной особенно была я заодно.

А дух давно носился над водою!  
Чайники бились, жажда спастись.  
Я дула к краю, будто бы прибоем  
чайнику к берегу на счастье прибить!

Мне параллельный случай вспоминался.  
Хотелось быть не в жизни, а в кино.  
А чай неслышно в небо воспарялся,  
мечтая осушить чайникам дно.

1973

Безутешные воды вешние.  
Безутешная сама капель.  
Плачет, плачет, а ведь безгрешная.  
Что оплакивает? — Поди проверь!

Поменялися весны — осени.  
А то и впрямь — на одно лицо.  
Непогодятся — и не вдосталь им  
неухоженное крыльцо.

Безутешное, опустевшее.  
Дверь поскрипывает на ветру.  
Видно, плачут те воды вешние,  
что никто нейдет ко двору.

1970

Уходишь в ночь.  
И тонок, тонок луч.  
Вишу над тьмой.  
За луч держусь и плачу.

Несчастный случай!

Свете Тихий мой!  
Я не вмещаю,  
что все это значит!

Я не вмещаю!

Господи! Прости!

В бессмысленность текут —  
в бездонность —  
слезы...

И застывают горько на пути...

Привязанность — обрывки нитей...  
Слезы...

О помяни нас, Господи! Прости!  
О помяни нас, Тихий, Тихий Свете! —  
губами шевелю...

Дыханье — ветер —  
душа — пылинка — крылышко —  
в горсти...

*Август—сентябрь 1977*

*Ингебор ФЛЕЙШХАУЭР*

## ДВОЙНАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ

**ЕВРЕЙ ПО ФРЕЙДУ**

Спор о том, "кого считать евреем?" ведется давно и на разных уровнях. Одним из первых, кто попытался определить характерные черты еврея, был Зигмунд Фрейд, который выделил три существенных, на его взгляд, признака еврейской личности: постоянная оппозиция против господствующего большинства; определенный скептицизм по отношению к господствующим идеологическим системам; так называемые "темные силы", то есть силы, существующие в еврейской душе и указывающие еврею на его еврейство.

Фрейд сформулировал эти три черты еврейства в своей речи перед ложей Бней-Брит в Вене и при этом имел в виду интеллектуальное еврейство Центральной Европы. Хотя его определение может быть применимо и к еврейству вообще.

---

Эта статья представляет собой результат исследования, проведенного совместно с израильским психологом и психоаналитиком, главой Израильского Общества психоанализа и специалистом по Катастрофе европейского еврейства, профессором Гиллелем Клейном.

Два элемента еврейской личности ясны сами по себе. Третий — вызывает удивление и даже сомнение, ибо, на первый взгляд, представляется типичным пережитком национальных идеологий конца девятнадцатого века. Трудно сразу увидеть в нем некую вечную черту, характерную именно для еврейства.

К сожалению, Фрейд нигде не разъяснил, что он подразумевает под "темными силами". Либо для него это понятие было само собой очевидным, либо он не разъяснил его из-за национальной чувствительности, хотя сам он был чрезвычайно свободным мыслителем.

Правда, в его сочинении о Моисее и израильском народе можно найти какие-то историко-психологические ответы, как например, в представлении о народе, бунтующем против религии отцов. Но в данном случае интересен не историко-психологический, а психоаналитический ответ.

### "ТЕМНЫЕ СИЛЫ" В ЕВРЕЙСКОЙ ДУШЕ

Опыт пятидесяти лет, прошедших с тех пор, как Фрейд сделал доклад в ложе Бней-Брит, опыт переживаний, выпавших на долю еврейского народа за это время, дает возможность глубже и откровеннее рассмотреть, что же это такое — "темные силы" в еврейской душе.

"Темные силы" — это силы, которые связаны генетическим, или вернее, психогенетическим образом с травматизацией, переживаемой еврейским народом многократно в течение многих веков. Эти травмы еврейской души возникли в ходе сосуществования и постоянных столкновений еврейства с другими народами. Результатом явились подозрительность, экзистенциальная неуверенность и, конечно, социальная неуверенность. Что же означают в этой психологической ситуации "темные силы"? Это силы, которые связывают еврейский индивидуум со своим народом, особенно в момент экзистенциальной неуверенности. Можно задать вопрос, где корни и самый глубокий источник "темных сил"? Как известно, пси-

хоанализ всегда ищет генезис различных явлений в самом раннем детстве. Очевидно, еврейская мать, являясь как бы представителем национального лона, передает ребенку уже в очень раннем возрасте ощущение полной уверенности в этом лоне, но в то же время косвенно сообщает ему чувства неуверенности и подозрения по отношению к окружающему обществу и миру.

Еврей должен быть настороже к внешнему миру, ибо этот мир способен на неожиданные и отрицательные действия. Таким образом, еврейская мать прививает ребенку с самого начала некую амбивалентность: полную уверенность в еврейском начале, как самой интимной и экзистенциальной сущности, к которой он всегда может обратиться в момент опасности, и постоянную настороженность, которая может дойти до психопатологической формы, постоянного подозрения к окружающему миру. Подобная амбивалентность во взрослом человеке в диаспоре проявляется в том, что называется двойной лояльностью.

### ОПЫТ ПСИХОАНАЛИЗА ЕВРЕЯ ДИАСПОРЫ

Еврей должен быть лоялен к окружающему обществу, ибо по необходимости должен вступать с ним в отношения на разных уровнях. Это могут быть экономические, культурные и даже семейные отношения (в случае смешанных браков). Но другая лояльность — это глубочайшая уверенность, что с еврейской стороны, со стороны национального лона, его не ожидает никакой подвох, никакое неожиданное действие. Личность в такой неустойчивой ситуации не всегда может быть стабильной. Когда окружающий мир кажется еврею желательной и надежной средой, от которой он не должен в данный момент ожидать отрицательных действий, направленных против него, лояльность по отношению к нееврейскому миру может быть очень сильной, и еврей может дойти до предела ассимиляции. Но, как правило, во время исторических потрясений и бурь он бросается в другую крайность. Он начинает искать очаг экзистенциальной уверенности только в еврействе.

Таким образом, двойная лояльность для любого еврея в диаспоре — динамическая система, которая латентно всегда присутствует полностью. В определенные периоды реализуется ассимиляционный вариант, в другие периоды — чисто национальный, предполагающий уход из окружающего мира обратно к материнскому лону.

Двойная лояльность часто выражалась в различных интеллектуальных и идеологических устремлениях еврейства. Известно из еврейской истории, что существовал национально-религиозный круг еврейства, и существовали ассимиляционные круги; существовала консервативно-национальная тенденция и существовала тенденция универсалистская. Первая тенденция — была связана больше с Галахой, с традиционными законами и корнями еврейства, вторая тенденция выражалась в просветительском течении.

Психические и психологические корни двойной лояльности представляются, как потенциальная поляризация еврея, который живет в нееврейской среде. В понятие поляризации входят и два других элемента, которые Фрейд включал в характеристику еврейской личности: оппозиция против господствующего большинства и скептицизм по отношению к господствующим идеологиям.

Двойная лояльность — это сложный психологический феномен. Человек, живущий в подобном состоянии, расходует много душевных сил на то, чтобы найти себя внутри этой неустойчивой системы. Такие еврейские гении, как Маркс, Фрейд, Кафка, постоянно страдали от двойной лояльности. Они мучительно искали для себя субъективное решение этого вопроса, потому что, надо сказать, интеллектуальное еврейство не всегда и не целиком принимало "темные силы" как свой элемент. Им хотелось оттолкнуть и побороть их, как подсознательный пережиток своей коллективной принадлежности к еврейству. Известен, например, конфликт Кафки с отцом, который в какой-то мере олицетворял для него теократическую консервативную еврейскую среду. Эйнштейн также боролся против собственной семьи, особенно против сестры. У Маркса эта борьба выразилась в высказываниях

против еврейского капитализма, как совокупности еврейских тенденций и качеств. Можно пойти дальше и сказать, что достижения еврейских гениев (начиная со Спинозы и кончая Марксом) были связаны именно со стремлением отойти от того, что называется "темными силами". Многие из великих евреев уходят или в мир высокой философской абстракции, который находится вне двойной лояльности, как Спиноза, или же в мир абстрактных социологических законов, как Маркс, или, наконец, в мир абстрактных психологических законов, как Фрейд. Это был способ выбраться из пропасти двойной лояльности и войти в отвлеченный мир, в котором двойная лояльность теряет силу, больше не существует.

### **ИЗРАИЛЬ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДИЛЕММЫ ЕВРЕЙСТВА**

Катастрофа европейского еврейства — как последнее и самое яркое проявление того, что влечет за собой ассимиляция, — поставила проблему двойной лояльности в особенно острой форме. Если до прихода Гитлера к власти "немецкий гражданин Моисеевой веры" чувствовал себя полноценным немецким гражданином среди немцев и евреем дома, то опыт гитлеризма показал, что такая ситуация не всегда реализуема. После Второй мировой войны каждый еврей должен был сделать четкий выбор. Он должен был или (в какой-то форме) ассимилироваться, что многие евреи диаспоры и сделали, или ехать в Израиль, чтобы создавать очаг настоящего еврейского существования, то есть обрести самую глубокую экзистенциальную уверенность в еврейском лоне.

Существование Израиля, идея сионизма, дает потенциально окончательное решение проблемы двойной лояльности, а вместе с тем, в психологических терминах, и другую возможность — отойти от вечной поляризации, которая выразилась в таких дуалистических формах мышления, как противопоставление гоев и евреев, как существование национально-консервативного и ассимиляционного еврейства, как наличие национальных и космополитических, универсалистских тенденций в еврейской мысли. Государство Израиль в состоянии решить

различные психологические дилеммы, например, дилемму: евреи и мир. В психологических терминах еврейское национальное государство приобрело функцию абсолютного средства в историко-психологической области.

Как эта функция была выполнена исторически? Если снова вспомнить фрейдистские категории оппозиции, скептицизма и "темных сил", можно сказать, в первую очередь, что оппозиция господствующим системам была заложена уже в самом сионизме, ибо человек, который избрал сионизм, уже в какой-то мере отталкивается от господствующих систем. Он решил избрать систему меньшинства и этим оттолкнул все другие господствующие системы.

Второй аспект — это идеологический скептицизм. Человек; избравший сионизм как мост от его собственной индивидуальности к новому миру, к новому будущему, в значительной мере отбрасывает скептицизм, который он раньше разделял с еврейством диаспоры. Скептицизм как отличительная черта еврейской самоидентификации в диаспоре исключен в Израиле. Это не значит, что в израильском обществе не существует ни оппозиции, ни скептицизма. Они существуют, но не как специфические свойства, которые отталкивают еврейство от окружающих наций, а как нормальные черты общественно-го поведения, находящие выражение в партийной, политической борьбе и т.д. Оппозиция и скептицизм внутри еврейского общества принимают формы, существующие во всех других свободных демократических обществах.

Перейдем к третьей отличительной черте еврейской личности — "темным силам". Они приобретают важнейшее значение для еврея в момент экзистенциальной опасности, когда он ищет убежища в еврейском лоне. Израиль в большой мере принял на себя функцию этого убежища. Он стал политической государственной формой того, чем раньше в подсознании человека были "темные силы", его принадлежность к еврейскому лону.

При каких условиях Израиль стал выполнять эту функцию? Хотя идея убежища существовала и раньше во всех национальных движениях Центральной Европы, она приобре-

ла государственно-политическую форму в Израиле лишь после Катастрофы. Таким образом, Израиль связан очень интимно с экзистенциальной неуверенностью европейского еврейства, чрезвычайно обострившейся после Катастрофы. Алия в еврейскую страну означает исход из двойной лояльности и выбор родины как материнского еврейского лона, хотя в сегодняшний переходный период двойная лояльность сохраняется в динамической системе. Еврей, который приехал, скажем, из Парижа, носит еще в себе культурную, историческую или даже социологическую лояльность к стране его происхождения. Так что и здесь двойная лояльность еще остается, пока индивидуум не интегрируется целиком в новом обществе, которое даст ему возможность жить так, как живет французский гражданин во Франции или немецкий гражданин в Германии.

## НАЦИОНАЛЬНАЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ

С того момента, как человек переходит в свое национальное государство, выбирает в противовес ассимиляции путь национальной коллективной самоидентификации, он начинает подвергаться процессу национального перерождения, национального ренессанса или просто уходит в национальный быт. С психоаналитической стороны это и есть национальная самоидентификация. Поскольку двойная лояльность как индивидуума, так и всего еврейского общества в диаспоре приводила к внутренней поляризации, можно сделать вывод, что это явление исчезнет в процессе национального перерождения. Можно предположить, что в новом национальном состоянии у человека исчезнут все формы поляризации, которые характеризовали его состояние в диаспоре. Состояние раздвоения, характерное для еврея диаспоры, постепенно уступит место гармоническому развитию личности. В таком развитии важную роль играет возможность овладения новой средой.

Понятие "овладения" занимает важное место в психологии развития. Часто молодой человек, развивая свою индивиду-

альность, пробует по очереди овладеть несколькими профессиями или несколькими видами искусства в поисках самовыражения. В израильском обществе важно то, что человеку дают возможность экспериментировать в различных ролях без принципиальных ограничений и, таким образом, найти свое истинное место в обществе. В какой мере израильское общество предоставляет индивидууму возможность такого эксперимента?

### **ИНТЕГРАЦИЯ ИНДИВИДУУМА В ИЗРАИЛЕ**

Речь здесь идет не только о высокообразованной европейской интеллигенции, которая устраивается здесь с определенными трудностями, но и о среднем израильтянине или о людях из арабских стран, которые на протяжении веков не имели возможности свободного выбора, но были фактически ограничены определенным набором профессий — они могли быть мелкими торговцами, заниматься черным рынком или приобретать специфические "еврейские профессии".

Стоит вспомнить и о том явлении, которое называлось в Восточной и Центральной Европе "человек воздуха" — то есть еврей, который в силу действия определенных социологических механизмов был обязан выполнять социальную функцию, не совпадавшую ни с его желанием, ни с его способом существования. Это определение применимо даже к таким престижным профессиям, как юрист, врач или банкир в различных западных странах, ибо это были профессии, которыми еврей занимался часто вопреки желанию. В диаспоре возможности экспериментирования для еврея были существенно ограничены. Израильское же общество старается открыть иммигранту свободное поле для эксперимента в различных ролях, пока он не овладеет собственной, специфической областью. В результате подобного овладения человек начинает чувствовать себя хозяином в своей среде, у него появляется новая уверенность и уважение к себе.

Внутри этого общества у него нет необходимости строить защитный механизм против окружающего мира. После имми-

грации, в случае удачной интеграции, происходит распад всех фиксированных полярных ментальных отношений к обществу и к самому себе. В конце процесса возникает свободное автономное существо, которое уже не еврей по необходимости, как в диаспоре, но просто человек, ибо его еврейство стало коллективной базой, нормальным явлением, оно больше не представляет для него проблему, он освободился от фиксированных отношений к миру и самому себе. Именно благодаря тому, что его душевный материал уже не используется для постоянной работы механизмов самозащиты, он имеет возможность использовать его для постройки автономной, независимой, свободной личности. Это цель процесса интеграции, и это идеал процесса интеграции индивидуума в Израиле.

### **МЕХАНИЗМЫ ПОДОЗРЕНИЯ**

Есть и другой аспект того, что мы называем распадом фиксированных душевных структур. Израильское общество имеет учреждения, которые принимают на себя функцию защиты индивидуума. Такие учреждения, как Министерство обороны, Служба безопасности или Министерство социального обеспечения, взяли на себя роль защиты индивидуума от потенциально враждебного и злого окружающего мира. Эти общественные учреждения выполняют функцию охраны индивидуума вместо него самого. Значит, человек, в принципе, может освободиться от собственных механизмов подозрения. Все эти процессы целительны и плодотворны, ибо они показывают, что та поляризация, которую считали вечным качеством еврейской ментальности, совсем не вечна, а напротив, может быстро потерять силу в однородном еврейском обществе.

Надо, впрочем, отметить, что другие формы поляризации по-прежнему сохраняются. При современном геополитическом положении Израиля он ассоциируется для израильтянина с положением еврея в диаспоре. Один еврейский французский философ не случайно назвал Израиль "евреем среди наций". Если можно сказать, что внутри израильского общества поля-

ризация индивидуума практически исчезает, то для общества как коллектива формы поляризации в большой степени сохранились. Это сохранение выражается как раз в тех проекциях, которые индивидуум раньше делал в отношении окружающего мира, а теперь делает израильское общество относительно своей ситуации в целом.

Поляризация национальной мысли или поляризованный национальный взгляд в некоторой степени естественны, а в чем-то и опасны. Ибо сама проекция, характеризующая противопоставлениями: "мы и другие народы", "Израиль и арабский мир" или "мы и свободный мир" (то есть всегда в дуалистических выражениях) может стать наклепанным пророчеством. Раз такая проекция существует, человек или коллектив уже не всегда в состоянии уничтожить дуализм между двумя мирами.

## **СИОНИЗМ, ИДЕОЛОГИЯ И ЛИЧНОСТЬ**

В самоидентификации человека в еврейском обществе важный элемент представляет сионизм как идеология. Но что такое идеология и какова ее роль в самоидентификации личности?

Психология развития уделяет идеологиям важное место на определенных периодах становления ребенка, а также молодого и даже зрелого человека. Человек в индивидуальном развитии проходит через периоды внутренней самоидентификации. В период полового созревания, например, молодой человек освобождается от тех систем и влияний, которые были характерны для его детства. Он освобождается от семьи, особенно от отцовского влияния (борьба против образа отца, отождествляемого также с различными учреждениями и идеологическими структурами, в том числе с церковью) и от груза идеологий, влиявших на него в детстве. Во время таких психологических перестроек наблюдаются периоды, называемые в психологии "мораториум", то есть периоды определенного спокойствия, даже пустоты, и в такие периоды человек

обыкновенно ищет какого-то внешнего руководителя, который поможет перешагнуть эту пустоту. Такими внешними инструментами, служащими мостом к новым самоидентификациям, являются и идеологии, и лидеры, и определенные учреждения. Сионизм как идеология в жизни многих людей как раз во время алии служит таким инструментом, таким мостом, чтобы подняться на новую ступень внутренней самоидентификации. Сионизм в период мораториума дает возможность идентифицироваться заранее и в начале интеграции с тем обществом, каким человек его выдумал, то есть с идеальным сионистским обществом.

После того, как сионизм выполнил для индивидуума эту функцию, перевел его в новую систему самоидентификации, с психологической стороны он уже в большой мере теряет свое право на существование. Нужно отметить, с другой стороны, что индивидуум, который прошел период ассимиляции и интеграции с помощью идеологии сионизма, должен уже развивать, кроме коллективной идеологической системы, собственную самоидентификацию. Он должен в новом обществе выбирать между различными возможностями те возможности, которые ему, как индивидууму, больше всего соответствуют. Поэтому дискуссия о том, существует ли еще в израильском обществе сионизм, или о том, что такое сионизм в Израиле (с психологической стороны), теряет свою актуальность. Сионизм как идеология для тех, кто уже живет в Израиле и строит сионистское общество, просто теряет свою необходимость, поскольку личность, прошедшая период стабилизации, стремится к освобождению от груза любых идеологий. Это естественный процесс самоидентификации индивидуума и характеризовать его как отрицательное явление или положительное, по-видимому, лишено смысла.



Дора ШТУРМАН

"Вся реклама мира основана на трех принципах: "Хорошо, много и даром". Поэтому можно давать мало, плохо и дорого".

*А.Грин. "Дорога никуда".*

"Рано или поздно истина всегда побеждает". А мы думаем очень редко и очень поздно (выделено А. Герценом). Разум спокон века был недоступен или противен большинству. ... Действовать на людей можно только грезя их сны яснее, чем они сами их грезят, а не доказывать им свои мысли так, как доказывают геометрические теоремы".

*А. Герцен. "Былое и думы".*

*Соч. в 9-ти томах, т. 6, стр. 506.*

"Ах, декабристы, не будите Герцена!.."

*Н. Коржавин. "Великий недосып".*

## ЛЮБОВЬ БЕЗ ВЗАИМНОСТИ

### КТО ИЗОБРЕЛ БОЛЬШЕВИЗМ?

Идет лютый спор: российское ли, русское ли изобретение большевизм? Или это иноземная для России инфекция?.. В этом споре много оттенков и побуждений... Кто первый сказал "А"? Кто виноват и кого по этому поводу надо подвергнуть остракизму?

Некий усредненный сторонник чисто иноземного для россиян происхождения большевизма приводит ряд весьма доказательных аналогий, например: между большевиками и якобинцами; между Лениным и Робеспьером; между Нечаевым и Марксом; между фашистами и большевиками (а так же предлагает читателям ознакомиться с этническим составом первой большевистской элиты, почти сплошь инородческим).

В то же время противной стороной, не без исторических оснований, прослеживаются другие связи: например, линия

"Иван Грозный — Петр Первый — Ленин". Или "пугачевщина — партизанщина гражданской войны"(ведь пугачевщина с ее ужасающей реактивной жестокостью западными воздействиями не провоцировалась? И инородцев известного происхождения среди пугачевского верховного генералитета было не больше, чем в нынешних кремлевских верхах? Впрочем, как знать: евреи — хазары — казаки!..)

Весьма популярна среди сторонников российской этиологии большевизма и линия "декабристы — народовольцы — большевики". И если уж заниматься всерьез истоками большевизма, то как не остановиться мысленно на некоторых намерениях декабризма: например, уничтожить под корень всю царскую фамилию, а убийцу отдать на расправу толпе, дабы и претендентов на престол не оставить, и гнев народный от себя отвести. А круг Чернышевского задумывается над тем, только ли царскую фамилию истреблять или "всю монархическую партию". И ведь были вожди декабризма людьми преимущественно славянофильского настроения. Среди них, кажется, ни выкрестов вроде Маркса, ни четвертьевреев вроде Ленина не было. И даже над бескровным, но "окончательным решением" некоего всех беспокоящего и всем опостылевшего "вопроса" Пестель в сочинениях своих задумывался. И тем не менее в его размышлениях о судьбах династии провидится тот позорный подвал, в котором большевики прикончат царских детей и даже домашнего врача Романовых Боткина. Значит, большевизм — явление сугубо российское, на российской почве зародившееся и развившееся? Исторические факты противоречат, однако, этой версии и не укладываются в ее прокрустово ложе. Куда девать, к примеру, такую для нас бесспорную линию, как "...Платон — европейские социальные утопии XVI-XIX веков — Маркс — тоталитарные диктатуры XX века"? Перечитайте Платона. Возьмите Томаса Мора, Кампанеллу, Вераса и других коммунистов-утопистов, вы увидите в их сочинениях разработанные в мельчайших деталях современные тоталитарные режимы.

Не тем ли, среди прочих причин, порождены все эти параллели и общности, что в облике тоталитаризма XX века мы пе-



реживаем ряд локальных интерпретаций одного из общечеловеческих подходов к социальной действительности и к ее целенаправленному преобразованию?

Человеческому разуму испокон веков присуще упорнейшее органическое стремление в своих интересах упорядочивать хаотические, на его взгляд, процессы. Он давно и успешно применяет методы формализации, логического анализа, математического расчета в решении многих задач с ограниченным набором компонентов. Однако, неуклонно расширяя этот набор, он упрямо стремится испытать свои "инженерные способности" и в задачах с практически необъятным количеством фактов он жаждет и пробует разрешать все свои затруднения радикально, полностью и "раз навсегда". Но, невольно учитывая лишь ничтожное меньшинство компонентов, разум неизбежно впадает в роковые ошибки. Даже Природа или, если угодно, Бог не решают таких задач посредством формально логических приемов, используя в этих целях самоорганизующиеся системы. Но человек самонадеянней своих создателей. Он нетерпелив, ибо существование его тяжело. Ему импонируют мнимо простые и мнимо быстрые способы превращения его снов в действительность. И если, желая проследить беспомощность Знания в борьбе с Настроением, мы обращаемся к русской, а не к французской, или немецкой, или китайской истории, то лишь по причине нашего более близкого знакомства с первой.

### **САМАЯ БЕСПОМОЩНАЯ ФИГУРА В ИСТОРИИ**

В России, в критические эпохи ее истории, всегда находились люди, видевшие более или менее удовлетворительный выход из кризиса. Во всяком случае, будущее доказывало, что лучше было бы пойти тем путем, который предлагали они, чем тем, которым пошли в действительности.

И по сей день не в этих людях и не в их несбывшихся кабинетных и литературных соображениях видит Россия свои перечеркнутые возможности. А они, действительно, говорили, писали и даже многократно печатали в газетах, журналах,

книгах (рассчитанных, правда, главным образом, лишь на просвещенных собратьев) мудрые и верные вещи. И ничего не смогли сделать для того, чтобы их соотечественники Поняли их или им подчинились.

Это явление прослеживается с достаточно давних времен, во всяком случае — с далеко допетровских.

Осторожная и мудрая любовь к России ее либеральных мыслителей была всегда любовью без взаимности — не менее безответной, чем любовь к ней, скажем, русских евреев...

Казалось бы: меры радикальные, военно-революционные вынужденно допустимы только тогда, когда нет никакого простора для реформации, для эволюции. Во всяком случае, в частной жизни, в повседневной деловой практике, в быту и на службе нормальные люди на драку идут только тогда, когда нет никакого иного выхода, на хирургическую операцию — если бессильно лечение консервативное. Но политика пренебрегает житейской и научной этикой и разворачивается тысячелетиями так, словно ее носителям психология уголовников ближе и доступней, чем здравый смысл обыкновенных людей. Политики тяготеют к силовым приемам отнюдь не только тогда, когда иного выхода нет. В частности, разрушительный радикализм расцветает особенно пышным цветом тогда, когда общество обретает известную свободу действий и где поэтому становится объективно возможным эволюционный подход к решению социальных проблем.

В России же, вообще, экстремисты (как правые, так и левые) издавна специализированы как политики, а либералы — как литераторы и философы. Россия не знает политически удачливых, решительных, тактически гибких и умеющих побеждать не только в корректной полемике, но и в политических схватках либералов, одновременно и нравственных, и прагматичных. В российской истории все те, кто превыше всего ценили свободу личности, не посягающей на свободу и благополучие других, ценили ее настолько, что не пытались своевременно лишать свободы действия ее врагов. При этом в теории они видели опасность для общества как безоговороч-

ного и агрессивного охранительства, так и разрушительного радикализма, не менее агрессивного, но лишь в теории...

Но только ли русский это парадокс? Часты ли в мировой истории вооруженные, бдительные и боеспособные либералы и либеральные правительства? Стало ли их сегодня больше, чем в XIX веке?..

Либералами мы называем людей разных взглядов, рассматривающих личную свободу как самостоятельную ценность, а не как обстоятельство, лишь облегчающее разрушение старого и построение нового правопорядка. Либерал — самая беспомощная (в политическом смысле) фигура истории и одновременно — самая духовно богатая ее фигура. Боеспособный и прагматичный либерал — редкое и счастливое исключение.

#### **"ГЛАВНОУГОВАРИВАЮЩИЕ"...**

В наши дни — дни небывалого преклонения перед радикализмом — даже как-то неловко говорить об интересе и уважении к консервативной мысли. Либеральную — и то мы привыкли третировать... Между тем, вопреки традиционному представлению, в России не только либеральная, но и консервативная мысль 1860 — 1910 годов не позволяла себе пренебрегать правами и свободой личности с такой безоглядной решимостью, с какой игнорировала эту свободу радикальная мысль.

В конце 1850 годов, почти дословно предвосхищая филиппики Ленина, Н.Г. Чернышевский недвусмысленно выговаривает либералам, склонным "фетишизировать" свободу личности и ее правовые гарантии:

**"Либералы почти всегда враждебны демократии и почти никогда не бывают радикалами". Зато "демократам... почти все равно, каким путем добиваться своих целей". Радикализм "расположен производить реформы с помощью материальной силы и для реформы готов жертвовать и свободой слова, и конституционными формами" (разрядка наша)\*.**

Как видим, Н.Г. Чернышевский уже тогда готов был "жертвовать" и нашей с вами свободой слова и конституцион-

\* Н.Г. Чернышевский. Полное собрание соч., т.V, стр. 216, М., 1950.

ными формами — ради осуществления своей программы.

Несколько позже Б.Н. Чичерин пишет А.И. Герцену:

**"Вам во что бы то ни стало нужна цель, а каким путем она достигается — безумным и кровавым или мирным и гражданским — это для вас вопрос второстепенный. Чем бы дело ни развязалось — невообразимым актом самого дикого деспотизма или свирепым разгулом разъяренной толпы — вы всё подпишете, вы считаете даже неприличным отворачивать подобный исход!"<sup>41</sup>**

Но ведь к этому следует добавить, что и цели-то реалистической не было!\*\* Ведь при всей их вере в свою правоту, при всей их самоотверженности революционеры-народники шли в историю вперед затылком!

В своих прокламациях "Молодая Россия" и "К молодой России" круг Чернышевского возвещает, что его деятели готовы во имя торжества народнического социалистического идеала пролить "втрое больше крови, чем пролили якобинцы во Франции"\*\*\*. Еще нет ни отчетливых идеалов, ни возможности обсудить эти идеалы всерьез со своими согражданами, жизнь которых радикалы собираются перекраивать любой ценой (ох, уж это "любой ценой" — главная мера "успехов" радикализма!..) Но уже есть категорическая готовность переступить и через свободу слова, и через конституционные права, которых и нет-то еще, и через кровь.

\* Ст. "Обвинительный акт", "Колокол", 1.ХП.1858, лист 29.

\*\* Не так давно г-н Э. Янг, представитель США в ООН, заметил, давая интервью конгрессменам, что ради торжества интересов цветных народов он не остановился бы перед угрозой гибели "западной цивилизации". Он тоже считает "даже неприличным отворачивать подобный исход"!

\*\*\* Пролили — чтобы затем отрубить поочередно друг другу головы, добавим мы. Ленин, кстати, тоже не упускал возможности провести параллель между большевиками и якобинцами, полагая последнюю весьма лестной для большевиков. Параллель эта оказалась неожиданно полной, правда, с несколькими различиями: крови было пролито куда больше; российские якобинцы погибли не на гильотине, а в подвалах советских тюрем, а их Робеспьер удостоился счастья умереть почти на свободе.

В одном из своих писем Кавелину Леонтьев примечательнейше характеризует Чернышевского:\*

**"Господин Чернышевский, как говорят все, очень хороший человек, очень чистый человек и очень способный человек, Вы пишете, что он имеет горячих приверженцев. Нельзя не пожалеть, что такой человек увлекся такими безумными и бесплодными теориями, но если он еще и других увлекает ими, не обязан ли противодействовать ему всякий видящий, что эти теории ведут не к жизни, а к смерти всего наиболее драгоценного для людей и общества? Вы, вероятно, не все читаете, что пишется, иначе Вы, наверное, обратили бы внимание Чернышевского на то, к чему ведет такая деятельность. Тысячелетиями истории выработанные блага для него ничем. Свобода лиц, свобода слова, улучшенное правление — все это вне его симпатий... Чернышевский, конечно, сам не знает, что творит. Но можно ли знающему оставаться равнодушным? Куда бы мы годились, если бы спокойно смотрели на таких рыцарей, набирающих себе дружины?" (Разрядка наша.)**

Равнодушными либералы не оставались. Но "дружин" себе — в отличие и от Чернышевского, и от растоптавшей его героическую и драматичную жизнь охранительной реакции — не набирали...

### **ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ!..**

Споря о желательном для них характере государственной власти, либералы не говорят о собственном своем намерении или желании самолично определять этот характер, сделав свою государственную власть исходным орудием необходимых, с их точки зрения, преобразований. Все, что российские либералы говорят и пишут, есть литературная апелляция к власти или к общественному сознанию, лишенная и признака волевых политических импульсов, а не программа собственных действий, способных обеспечить необходимые преобразования.

Кавелин пишет Герцену весной 1852 года:

**"Крепко и здорово устроенный суд, да свобода печати, да передача всего, что прямо не требует единства государства, местным жителям в управление — вот на очереди три вопроса. Ими и следовало бы заниматься вместо игры в конституцию".**

\* "Русская мысль", Публикации из прошлого, 1892.

Весьма показательно здесь это сослагательное наклонение: "следовало бы", а не "мы намерены"... Но с какой безошибочностью представлены здесь важнейшие для России тех лет преобразования! И по сей день она может только мечтать о решении этих вопросов. Однако российская история не слышит кавелиных с их отчаянными призывами, обращенными вправо и влево: "Ни реакции, ни революции!" (Как не слышит сегодняшний мир обращений к нему хотя бы Андрея Сахарова.)

Еще Сперанский в 1805 году в своем предисловии к Своду законов, которые он мечтал провести в жизнь, молил о том же, но столь же безрезультатно...

М. Каткова решительно относят к числу консерваторов, даже реакционеров, а не либералов, хотя путь его был долг и мыслил он в разные времена своей жизни по-разному. Сравним рассуждения этого среди либералов правого издателя и журналиста с высказываниями радикала Чернышевского. Катков хотел бы увидеть в России сосуществование "крайних прогрессистов" и "умеренных прогрессистов", "партии движения" и "партии охранения", но в английском парламентском духе. С Чернышевским он спорит непримиримо из-за его "возбужденной и эксцентрической фантазии", из-за его "наезднического обращения с действительностью", из-за приверженности к "внешним и насильственным способам преобразования", из-за "чудовищной нелепости" конструктивной программы народнического социализма, из-за "непонимания жизни, соединенного с нелепыми претензиями на переработку ее основания".

Какие же "способы преобразования" считает желательными и берет на себя Катков с товарищами? Этот вопрос в их политических и околополитических размышлениях остается всегда "за кадром".

Зато спросите об этом Чернышевского, и он, предвзято знаменитое ленинское: "Есть такая партия!", всерьез скажет: "Мы!" И набросает перед вами твердой рукой картину очередного сна Веры Павловны, а на обороте — план ведущих к нему дорог. И сделает это с глубочайшей безапелляционной верой

в свою правоту. И вызовет столь же однозначную реакцию слушателей — реакцию умственную, эмоциональную и волевую, ведущую к действию.

Российская же либеральная интеллигенция слишком хороша для борьбы. Она всегда выше тактики и политической конкуренции, выше массовой пропаганды своих воззрений, выше утилитарной борьбы за лидерство. Она оказалась даже выше своей вероятной, по меньшей мере дважды, в 1860 и в 1910 годах, победы.

Не напрашиваются ли аналогии сказанному в современном мире? И международная демократия сегодня не стоит ли перед той же угрозой? И не по тем же самым причинам ли, точнее — свойствам своей психологии?

### ЭСТЕТИКА ПОДВИГА

Либерализм и "постепенчество" были тем менее популярны в гражданственных слоях русского общества\*, чем теснее они соседствовали и переплетались с обыкновенным приспособленчеством. Бесспорно, порой для того, чтобы не выйти на Сенатскую площадь (сознательно не выйти), нужно больше мужества, чем для того, чтобы выйти. Но, во-первых, это только порой. А во-вторых, вожди и пропагандисты всех восстаний мира убеждены и хорошо в том убеждают зрителей, что на баррикады либералы не выходят только из страха. И это на фоне бесспорного мужества вышедших симпатий к либералам не вызывает. Тем более, что и на самом-то деле страх — не последний довод при разрешении альтернативы "выходить или не выходить". Иные выходят из одного только нежелания прослыть испугавшимися. Но многие не выходят даже тогда, когда выйти необходимо.

В любом случае готовность идти на риск в глазах большинства наблюдателей выглядит эстетичней расчетливости.

Когда же выйти на площадь необходимо? Когда либерал обретает моральное право на радикальные меры? Вероятно,

\* Об отношении к ним массовых слоев народа мы не говорим, так как "постепеновцы" не вступали в диалог с массами, на языке последних — во всяком случае.

самый приемлемый для либералов ответ на эти роковые вопросы близок по смыслу к известной формуле К. Поппера: когда других путей для защиты свободы решительно нет.

Александр II тоже был либералом. Когда активизировались после его реформ радикалы и ощерилась реакционная администрация, он забыл, что он — власть, и не расставил всех по местам по своему разумению. Он испуганно ринулся вправо — под крыло своих же противников, зажав глаза от обиды. Он не стал насаждать и ограждать свой либерализм административно-политическими приемами. "Правые" двинулись крушить крамолу, топча заодно и "центр", и царевы нововведения. "Левые" стали говорить либералам: "Вот вам и мирный прогресс, и реформы, и постепенность, и эволюция!" Либералы — "левым": "Вот вам и ваше революционерство, да нетерпение, да социализм!" "Правые" — батюшке-царю: "Вот вам, Ваше Величество, ваше добросердечие да реформаторство!" А батюшке-царю осталось только пожаловаться господу Богу 1-го марта 1881 года на неблагодарность подданных — в личной беседе.

И все-таки слабый и непоследовательный Александр II, либерал на престоле, сделал для России больше, чем могучий Петр I: он вывел Россию из тупика без катастрофы и раскрепостил в ней дальнейшее самодвижение. Образно говоря, после великой реформы 1861 года перед страной открылось болотисто-таежное бездорожье, пересеченное рвами и реками, хребтами и пропастями, но она больше не упиралась в стену. Тот тяжкий кусок российской истории, который расположился между мартом 1861 и октябрем 1917 годов, был все-таки квазитупиком, а не тупиком. И, чтобы снова ввести Россию в тупик, уже настоящий, потребовались самопожертвенные усилия двух поколений.

### ЛИБЕРАЛЫ В МУНДИРАХ

Оставим российских либералов прошлого века и коснемся некоторых деятелей начала нашего века — деятелей, которых

и либералами-то называть как-то не принято. А для человека со слухом, воспитанным советской школой, и неприлично.

Губернаторы, царские министры, полицейские чиновники — люди, марксизмом и советской историографией никогда не зачисляемые ни в мыслители, ни в патриоты... Что они говорили о судьбах России? Вокруг чего сосредоточились их размышления?

Одной из главных проблем начала XX века оставалась в России проблема аграрная. Радикалы разнообразных оттенков уверяли, что можно решить ее сразу и окончательно. И тем вызывали к себе симпатии и доверие, а к либералам — ненависть и презрение.

В российской ситуации 1900 — 1910 годов крестьянский вопрос был в такой же мере узловым, в какой находится в центре нынешней мировой ситуации проблема слаборазвитых стран.

В обоих случаях положение терпящих бедствие предрешено (кроме причин сравнительно легко устранимых) факторами фундаментальными и объективными. В обоих случаях необходимым условием снятия этих факторов является время. И уже одно только обещание радикалов перескочить через время\* и решить все "сразу" означало, что вопрос не будет ими решен. В обоих случаях естественное нетерпение страдающей стороны беспощадно эксплуатируется экстремистами и раздувается искренними, но близорукими доброжелателями.

Горячее всего почти все российские политические партии начала XX века спорили о праве владения землей и о принципах ее распределения. Между тем, во множестве книг и статей приводились данные, свидетельствовавшие, что в России начала XX века нет достаточного количества обрабатываемых угодий для того, чтобы удовлетворить в экономически целесообразных масштабах землепользования всех крестьян. Так, С.Н. Прокопович\*\*, в согласии с рядом других авторов,

\*У некоторых племен Крайнего Севера выражение "лишить времени" означает "убить" (а "лишиться времени" — "умереть"). Эта идиома-метафора весьма многозначна.

\*\* "Аграрный вопрос в цифрах", СПб, 1907, "Библиотека общественной пользы".

пишет: "В среднем один работник может обработать и убрать 5,3 десятины посева. Следовательно, в крестьянском и частновладельческом хозяйстве (разрядка наша) занято только 38,8% всех работающих сил земледельческого населения, — около 60% этого населения не находит приложения своим силам" (и, однако, остается в деревне, в составе крестьянских семей, и претендует на землю, которой нет). И тем не менее эту же работу С.Н. Прокопович завершает призывом разделить все сельскохозяйственные угодья между всеми крестьянами, которые, получив при этом чуть более трех десятин на душу, не обретут полной занятости и не прокормят себя, выведя из строя все товарные хозяйства страны.

В то же время круги, группы и лица отнюдь не революционного, а подчас откровенно консервативного толка предлагали меры, способные, действительно, по прошествии некоторого промежутка времени вывести крестьянство из кризиса. Меры эти лежали в русле тех аграрно-промышленных преобразований, через которые уже прошла Западная Европа, и были достаточно хорошо испытаны.

Так С.Ю. Витте\* пишет:

**"В настоящее время натуральное хозяйство заменилось денежным, наделная земля является не единственным источником существования нашего крестьянства... сильно развились отхожие промыслы и расширилась область неземледельческого труда, земельное "утеснение" всюду чувствуется, жить экстенсивным хозяйством невозможно, необходимы затраты и более умелый труд для усиления производительных сил, рентабельность земли сильно возросла, и крестьянский надел представляет уже ценное имущество, а не тягло, — вообще, установился тот экономический строй, при котором личное начало приобретает первостепенное значение. При таких условиях правовая конституция, отрицающая индивидуальную принадлежность прав и принудительно удерживающая отдельных лиц в составе двора, парализует основную двигательную силу современной экономической жизни и вносит чрезвычайную неопределенность и спорность в**

\*Сборник "Принципиальные вопросы по крестьянскому делу" (СПб, 1903), содержащий весьма примечательные и конструктивные выводы "Особого всероссийского совещания комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности".

частно-правовые отношения, которые силой вещей складываются на начале личности". (Разрядка наша.)

Трезвого понимания живых потребностей русской хозяйственной жизни в размышлениях Витте куда больше, чем в идеальных грезах народнических кругов и в ученых выкладках радикальных марксистов. Витте говорил о тенденциях, уже наличествующих в хозяйственной жизни, и о способах поддержания и раскрепощения наиболее продуктивных из этих тенденций. Он ратует за "индивидуальную принадлежность прав". Тогда как эсеры во что бы то ни стало хотят сохранить распадающиеся общинные формы, а марксисты — пренебречь всеми живыми формами: и реликтовыми, и нарождающимися, и зрелыми — и насильственно построить конструкцию, спекулятивно изобретенную их учителями.

Обратимся еще к одному традиционно малопочитаемому имени. П.А. Столыпин ассоциируется в сознании советского читателя только с выражениями "столыпинские вагоны" и "столыпинский галстук"\*. Но мало кому известно, что автор выражения "столыпинский галстук" Набоков-старший был вызван Столыпиным за него... на дуэль — а не в охранку — и предпочел извиниться. Как реформатор и социальный мыслитель Столыпин современной России почти неизвестен.

В отчете за 1904 год Столыпин пишет царю о небывало большом урожае зерновых в Саратовской губернии, где он служил тогда губернатором. Но "...с другой стороны, этот год дает печальное доказательство какого-то коренного неурейства в крестьянской жизни... Видимо, существует неодолимое препятствие к улучшению быта крестьянского населения, что-то парализует личную инициативу и самостоятельность мужика и обрекает его на жалкое прозябание. Доискиваясь причины этого зла, нельзя не остановиться на всепоглощающем влиянии на весь уклад сельской крестьянской жизни общинного владения землей, общинного строя. Строй этот вкоренился в понятия народа. Нельзя сказать, чтобы его любили: он просто другого порядка не понимает и не считает возможным\*\*. Вместе с тем у русского крестьянина — страсть всех уравнивать, все привести к одному уровню, а так как массу нельзя поднять до уровня самого способного, само-

\* Висельная петля для террористов, совершивших убийство или покушавшихся на него.

\*\* Не объясняется ли этим популярность в России эгалитарных утопий народнического и марксистского толка?

го деятельного и умного, то лучшие элементы должны быть принижены к пониманию и устремлению худшего, инертного большинства... ..Естественным противовесом общинному началу является единичная собственность. Она же служит залогом порядка, так как мелкий собственник представляет собой ту ячейку, на которой покоится устойчивый порядок в государстве. В настоящее время более сильный крестьянин превращается обычно в кулака, эксплуататора своих однообщинников, — по образному выражению, — мироеда. Вот единственный почти выход крестьянину из бедного положения и темноты — видная, по сельским понятиям, мужицкая карьера. Если бы дать другой выход энергии, инициативе лучших сил деревни и если бы дать возможность трудолюбивому землеробу получить сначала временно, в виде искуса, а затем закрепить за ним земельный участок, вырезанный из государственного фонда или из земельного фонда Крестьянского банка, причем обеспечена была бы наличность воды и другие насущные условия культурного землепользования, то наряду с общиной, где она жизненна, появился бы самостоятельный зажиточный поселянин, устойчивый представитель земли. Такой тип уже народился в западных губерниях, и он особенно желателен теперь, когда Вашему, Императорскому Величеству стало благоугодно выслушать голос земли через Государственную Думу".

Попытайтесь теперь сравнить политические программы и, главное, интонации эсеров и большевиков с интонациями и предложениями Столыпина. Столыпин знает крестьянский быт, настроения и потребности. Он предлагает для улучшения положения простые и мирные меры, которые будут действовать медленно, но созидательно, наверняка и без катастрофических преобразований, стоящих крови.

История осудила Россию на кровавую насильственную реконструкцию и долгий хозяйственный паралич, на разгром и дробление работающих товарных хозяйств, на коллективизацию и ввоз продовольствия из-за границы. Что извлекает из ее опыта мир? Запад — ленивое безразличие и желание отстраниться... Юг и Восток — тяготение к сгубившим ее миражам...

Очень интересна добросовестная попытка Столыпина дать верховной власти страны представление о настроениях и новой идеологической стратификации в обществе — попытка, лишенная и тени доносовых интонаций:

"...Не могу не остановиться на некоторых причинах, способствующих крайнему радикализму общественных групп губернии, и на положении местной правительственной власти среди бурного хаотического потока их требований... Как я упомянул выше, кроме отдельных, незначительных пока, групп крестьян-революционеров, крестьяне мало интересуются политическими реформами, кроме земельной; в земстве преобладают мелкие и средние собственники, которые находятся под непосредственным преобладающим влиянием самого влиятельного, даже могущественного в Саратовской губернии, элемента, прозванного "третьим" и состоящего из служащих земства, учителей, врачебного персонала и в последнее время даже адвокатов".

"Третий элемент" быстро поднял голову и смело предъявил претензии на руководящее положение. Не имея связей в прошлом и греша большой теоретичностью, не встречая к тому же здоровой оппозиции в самом обществе, он ведет плененное им земство дальше, может быть, чем последнее бы хотело".

"Беспристрастно оценивая вполне сформировавшийся разряд деятелей "третьего элемента", нельзя отказать им в смелости, трудоспособности, энергии... но с другой стороны, бросается в глаза их предвзятость, врожденная антипатия и недоверие к сложившимся историческим путям и формам (разрядка наша), их презрение и полнейшее незнание людей других классов и воззрений и часто прямолинейное игнорирование интересов страны" (а также их непосредственных подопечных — крестьян и рабочих, добавим мы). "У них страсть к ломке, и инстинктивно они предпочитают законному ходу вещей достижение реформ путем революционным..."

Что же принес саратовскому губернатору его отчет — ссылку, отставку, психиатричку? Никак нет: пост председателя Совета Министров. А ведь его критицизм и реформаторские тенденции куда глубже, чем, скажем, критицизм братьев Медведевых или Леонида Плюща, не посягающих на экономические преобразования социализма.

Кончил же Столыпин, как Александр II: был убит эсером Багровым — боевиком-террористом и провокатором охраны — по совместительству.

О том, сколь различные круги русского мира 1900 годов были заняты крестьянским вопросом, свидетельствует и следующий документ — письмо Великого князя Николая Михайловича Романова княгине Е. Барятинской (СПБ, 10/VIII-1906):

"...мне пришлось отправиться на заседание в Петергоф. Пригласили всех великих князей, Столыпина, Васильчикова, Кокорцева, Кочубея. Полковник (царь — прим.наше) председательствовал. Обсуждался вопрос о возможных милостях для крестьян удельных земель. Заседание длилось три часа. Были очень откровенны с одной и с другой стороны, временами обсуждение становилось оживленным, и, в конце концов, пришли к решению, которое, на мой скромный взгляд, никого не удовлетворит и является лишь полумерой. Решено передать в пользование крестьян 1.800.000 десятин земли, не даром, а с помощью операции с Крестьянским банком. ...с моей стороны я поддерживал тезис о более широкой реформе, то есть о передаче всех земель (с помощью постепенного выкупа), чтобы действие закона оказалось более ощутительным для крестьян!"

Пожалуй, хуже, чем разрешили аграрный вопрос в России большевики, его не разрешила бы ни одна из сторон, состоявшихся в его решении, включая семью Романовых... Но радикалы слева и реакционные экстремисты справа отняли у России время для его решения.

Продолжим, однако, нашу экзотическую экскурсию. Перед нами доклад Петроградского охранного отделения Департаменту полиции\*. В 1915 году даже Петроградское охранное отделение понимает, что обстоятельства "властным образом диктуют необходимость спешных и исчерпывающих мер к устранению создавшейся неурядицы и разрешению излишне сгустившейся атмосферы общественного недовольства". Автор донесения призывает правительство к "изысканию необходимых для успокоения страны исчерпывающих и спасительных мероприятий" (предупредим опасение, что речь идет о репрессиях, напротив: последние автором отчета отвергаются категорически — как мера не спасительная, а лишь углубляющая кризис), к проявлению "той особенной осмотрительности и решимости, какая обязательна и может быть уместна лишь у ора тяжелобольного". Фамилий и каких-либо оттенков доносительства или подстрекательства к репрессиям в отчете нет, и весь он имеет исключительно вдумчивый и озабоченно-тревожный характер. Указаны следующие причины назревшего кризиса:

\* "Дело Департамента полиции", делопроизв. № 167, ч. 57, сведения по телеграмме № 976, 1915-16 годов.

"Трехлетний угар шовинистических настроений", "...постепенно назревавшее расстройство тыла, иными словами — всей страны, носившее хронический и все прогрессирующий характер, достигло к настоящему моменту того максимального и чудовищного развития, которое определено и уже теперь начинает угрожать достигнутым на фронте результатам и обещает в самом скором времени свергнуть страну в разрушительный хаос катастрофической и стихийной анархии. Систематически нараставшее расстройство транспорта и хищений разного рода темных дельцов в разнообразнейших отраслях торговли, промышленной и общественно-политической жизни страны; бессистемные и взаимно противоречивые распоряжения представителей правительственной и местной администрации" (каков "охранник"); "недобросовестность восторженных и низших агентов власти на местах и, как следствие всего вышеизложенного, неравномерное распределение продуктов питания и предметов первой необходимости, неимоверно прогрессирующая дороговизна и отсутствие источников и средств питания у голодающего в настоящее время населения столиц и крупных общественных центров... — все это вместе взятое, характеризует в ярких красках результат забвения тыла, как первоисточник и причину тяжкого болезненного состояния огромного государственного организма, в то же время определено и категорически указывает на то, что грозный кризис уже назрел и неизбежно должен разрешиться в ту или иную сторону."

Далее отмечается растущая и закономерная, по убеждению автора отчета, популярность крайне левых течений и их лозунгов:

"Ввиду того, что подобного рода речи в настоящее время раздаются буквально во всех слоях населения, не исключая и такие, которые в прежние годы никогда и ничем не выражали своего недовольства (например, гвардейского офицерства), необходимо считать в значительной степени правильной точку зрения кадетских лидеров, определенно утверждающих, что "весьма близки события первостепенной важности, кои нисколько не предвидятся правительством, кои печальны, ужасны, но в то же время неизбежны".

Не только при Сталине, но и при Хрущеве или Брежневев подобная критика рассматривалась и рассматривается как явное посягательство "на устои" и лишь карается в разные советские времена по-разному: то беспощадней, то несколько мягче...

Характерно, что в полицейском отчете подчеркнута актуальная и для нашего времени мысль, которую мы уже форму-

лировали: политические потенциалы антиправительственных групп зависят не от истинной благотворности их программ, а от степени созвучности их лозунгов настроениям и потребностям большинства населения.

Крайне правые, черносотенные, силы с их погромными лозунгами в отчете представлены иронически и неуважительно, а нацменьшинства, включая евреев, — сочувственно. По мнению автора, оппозиционно настроены и промышленно-финансовые круги, состоящие из культурных слоев буржуазии. Так, один из крупных цитируемых им анонимно финансовых деятелей (еврей) дал следующую оценку моменту:

"Можно быть разных мнений о политике нынешнего правительства, можно разделять его программу, но не может быть двух мнений об экономическом положении России и ее перспективах на будущее. Страна экономически совершенно разорена: у 3/4 населения нет возможности даже кое-как существовать... Я не знаю, революционеры или реакционеры те люди, которые будут скоро громить нынешний порядок, но я знаю, что кто-то скоро будет его громить..."

Конечно, в первую очередь, разгромят евреев, против которых сейчас опять ведется травля... Но потом начнут громить всех, у кого имеются деньги и товары, рано или поздно доберутся и до бюрократов... Конечно, погромы и революции не повысят стоимости рубля, но они освежат сгустившуюся атмосферу, дадут остыть народному гневу..."

Даже умудренный жизнью финансовый деятель не мог предположить, во что выльется в конечном счете эта "разрядка" "народного гнева"...

Особо подчеркнута автором отчета усиление тяги еврейства к эмиграции. Этот симптом кажется полицейскому чиновнику одним из самых серьезных признаков надвигающейся катастрофы, которую евреи-промышленники и финансисты, со свойственной им предусмотрительностью, предчувствуют в недалеком будущем.

Итак, понимали положение многие. Но волей истории единственный гениальный политический тактик России тех лет оказался не в лагере реформаторов, а во главе беспощадных разрушителей, которые ничего, кроме бесплодного и безвыходного тоталитаризма, России не принесли и не могли принести, и он был принят всерьез либеральной Рос-



сией катастрофически поздно, хотя бесплодность его программы была ею понята вполне своевременно.

### ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВЛАСТИ

П.Б. Струве говорит о Столыпине, что последний, при всех его дарованиях, был не государственным человеком западно-европейского типа, "служащим делу", но царским чиновником, всегда оставляющим окончательное решение за своим начальством, не представляющим себе, что значит служить своему замыслу, а не монарху. В этом смысле не были "государственными людьми" все политики российского "центра", включая и П.Б. Струве, всегда только уговаривающие, ходатайствующие и никогда не стремящиеся к овладению политической инициативой. Мы не устаем подчеркивать это, ибо и сегодня такова роль большинства представителей международной либерально-демократической оппозиции по отношению к Его Величеству Экстремизму разных мастей.

Политически образованные и, казалось бы, дальновидные россияне начала XX века, как и предшественники их в XIX веке, полагали, что конституционность завоевывается, в отличие от "социальной республики", мерами исключительно конституционными же, предпочитая не замечать, что конституционных приемов борьбы в практике российской общественной жизни еще почти не имеется.

Революция ради эволюции, заговор ради демократического переустройства общества, использование настроений масс ради установления правопорядка, способного этим же массам помочь на деле (а не в одних только демагогических декларациях), по-видимому, казались им недостойными, безответственными или просто непосильными для них приемами.

В августе 1902 года П.Б. Струве в статье "Лев Толстой" дает интересную оценку социализма Маркса и Энгельса. Оценка эта знаменательна тем, что принципиально выделяет в социализме его самое уязвимое место — тот скромный, неповерхностный взгляд, момент, который превращает в утопию всю, казалось бы, железную марксистскую схему. Продолжая кри-

тику марксизма Спенсером, П.Б. Струве в терминах простого здравого смысла предвосхищает наиболее современный системный анализ социализма. Он подходит к возможностям социализма со стороны управляемости национализированной экономики, которую "диктатура пролетариата", то есть марксистская социалистическая государственная власть, намерена взять в свое исключительное распоряжение.

**"По идее социализма, — говорит П.Б. Струве, — стихийные хозяйственно-общественные взаимоотношения людей должны быть сплошь заменены их планомерным, рациональным сотрудничеством и соподчинением. Я нарочно подчеркиваю слово сплошь, ибо социализм требует не частичной рационализации, а такой, которая принципиально покрывала бы все поле общественной жизни. В этом заключается основная трудность социализма, ибо очевидно, что ни индивидуальный, ни коллективный разум не способен охватить такое обширное поле и не способен все происходящее в нем процессы подчинить одному плану."**

В наше время прозрения Спенсера и догадки Струве превратились в ряд хорошо разработанных и опубликованных доказательств. Но эти доказательства так и остаются пока что кастовым достоянием либеральной и научной мысли. В массовый обиход они еще не попали. И неизвестно, когда попадут...

В статье "Оздоровление власти" ("Русская мысль" № 1, 1914), предчувствуя приближение роковой катастрофы, П.Б. Струве пишет:

**"Выходов может быть только два: либо постоянное нарастание государственной смуты, в которой средние классы и выражающие их умеренные элементы вновь будут оттеснены на задний план стихийным напором народных масс, вдохновляемых крайними элементами, либо оздоровление власти (выделено Струве). Первый выход не подлежит сейчас нашему обсуждению. Мы сознательно стоим в русских условиях на точке зрения, исключающей для нас возможность как действительно стремиться к этому выходу, так даже просто желать его. Поэтому нам остается только ставить перед общественным сознанием другой выход... Есть люди, которые самую идею оздоровления власти признают утопической. Но ведь в этом оздоровлении — и только в нем — заключается эволюционный выход из тупика, в который зашла политическая жизнь страны... Мы просто желали бы, чтобы политическое развитие нашей страны совершалось мудро и твердо, без "великих потрясений", всегда болезненных, но неизбежных там, где из "потрясений" не выносятся никаких уроков для... успокоения".**

"Просто..." Ежели так "просто", то следовало бы хотя бы попытаться овладеть политической инициативой. Но нет, рафинированный российский либерализм и в канун роковых для страны событий занят лишь тем, что одной рукой указывает на апокалиптическое видение революции и пытается его отстранить, а другую — в молитвенном жесте протягивает к неменяемому царственному дуэту, умоляя его "оздоровиться", пока не поздно. Он не удержит в своих руках политической инициативы даже тогда, когда власть свалится ему на плечи и волей событий он на время окажется у ее кормила. И Россия, вспыхнув чудовищной сверхновой звездой, рухнет в "черную дыру" диктатуры, где прекращают свое существование все привычные для ума законы.

Земля круглая, и каждый, кто на ней старается от чего-нибудь отдалиться, одновременно и приближается к тому, от чего бежит. Запад отстраняется от российского опыта, а сам уже втянут в него по всем направлениям. Он отталкивает призрак чужой беды, а беда всегда была общей. Бессмертный крыловский кот давно уже прикончил цыпленка и выедает бок беспечному повару, наркотизированному собственным красноречием,— как все мы, тщетно взывающие к равнодушному миру.

## Novoye Russkoe Slovo

*Oldest Russian Daily - Established 1910*

243 WEST 56th STREET  
NEW YORK, N. Y. 10019

M. G.

Tel. COlumbus 5-5500

**Подписываясь на газету будьте добры послать нам денежный перевод на сумму заказа. Просим об этом, чтобы облегчить нашу работу и ускорить оформление подписки.**

### УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

**Ежедневное и воскресное издание:**

Год — \$50.00; 6 мес. — \$28; 3 мес. — \$17; 1 мес. — \$6.00

**Ежедневное издание только:**

Год — \$45.00; 6 мес — \$25.00; 3 мес. — \$15.00.

**Воскресное издание только:**

1 год — \$20.00; 6 месяцев — \$12.00

**Заграничная подписка принимается только на**

1 год — \$60.00; 6 месяцев — \$35.00

**Только воскресное издание для заграничьи**

1 год — \$25.00; 6 месяцев — \$15.00

— Перемена адреса 1 доллар —

**Заграничная подписка воздушной почтой  
в страны Европы и Латинской Америки**

**Ежедневное и воскресное издание:**

1 год — \$150.00; 6 месяцев — \$90.00

**Воскресное издание только:**

1 год — \$75.00; в месяцев — \$40.00

**Отправка газеты в страны Азии, Африки и Австралии**

**Ежедневное и воскресное издание:**

1 год — \$180.00; 6 месяцев — \$100.00

**Воскресное издание только:**

1 год — \$85.00; 6 месяцев — \$45.00

**Подписные деньги посылайте наличными в заказном письме, чеком или почтовым переводом (Мони ордер) простым письмом.**



Евгений ЦВЕТКОВ

## ХРАНИТЕЛЬ ДРЕВНОСТЕЙ

### ПАМЯТИ ЮРИЯ ИОСИФОВИЧА ДОМБРОВСКОГО

Умер замечательный писатель Юрий Иосифович Домбровский. Через неделю после своего дня рождения, несколько дней поболел и 19 мая 1978 года он нас покинул, оставив книги и память по себе у тех, кто знал его лично.

Почти всю жизнь свою с двадцати четырех лет и до пятидесяти пробыл он в лагерях и ссылках. Выжил. Не сошел с ума, не потерял человеческое достоинство. Творил, писал — его не печатали, или почти не печатали, жил на 120 рублей пенсии. "Жизнь, я думаю, что-то вроде школы, — как-то сказал он, — только оценки выставляются в последнюю минуту". И думается мне, что, если главным в этой жизни для Домбровского было писательское, творческое дело — то получить он должен был одобрение в неведомый нам, пока еще живущим, последний миг.

Если справедливо мнение, что писатель в своих произведениях выражает себя, не прямо, не буквально, но все же

себя, то образ Домбровского легче всего составить, сложив в одно тех главных героев, которые живут в написанных им страницах. Изуродован физически герой из романа "Обезьяна приходит за своим черепом", изуродован страшной, насильственной властью фашизма. Действие как бы происходит в Германии, хотя вряд ли кто-нибудь распознал бы фабулу романа, как "германскую". Над героем экспериментировали, люто экспериментировали над его психикой, и он должен стать идиотом. И никто в этом не сомневается, когда он изображает помешанного. Однако герой Домбровского идиотом не стал и личина, маска ему нужна лишь для того, чтобы отомстить, разоблачить мучителей.

И совсем отдельно звучит вторая, изящная линия романа, неземная, приподнятая над бытием — линия эпитафий из Апокалипсиса. Каждой главе ниспослано обращение к настоятелю одной из церквей, отступившему от божеского закона, либо испугавшемуся, либо соблаздившемуся сиюминутностью греха. И получается в результате странное чувство от сочетания эпитафий и содержания глав. Ты видишь, как всю беду творят сами люди, и никто их к тому не принуждает, и нет никакой скверной силы потусторонней! Все от собственного их качества происходит. Быть может, потому герой — одинок. Полупомешанным одиночкой он тщетно ищет справедливости и мщения.

Но коль скоро погряз в грехе и скверне мир и созидающие его люди, то где же приткнуться душе? Где найти незыблемое и родное для истинно человеческого и непреходящего? И вот герой другого романа "Хранитель Древностей". Он заведует ими в музее, он с ними под крышей Собора, превращенного в музей. Дело происходит в Алма-Ате, в тридцатых годах. В хаосе небрежения всем, развала ценностей эти выжившие старинные предметы — вещественное доказательство иного бытия.

И вновь герой один. Но теперь он не борется, не ищет внешних доказательств справедливости в мести и действии. Он попросту знает, что есть справедливость, только долги ее дела, а жизнь человека короткая. А вокруг идет предвоенная

жизнь. Среднеазиатский красочный базар, заплыванный подсолнечной шелухой, солнце, зелень тенистых деревьев, посаженных когда-то по приказу губернатора. Но герой эту жизнь наблюдает со стороны. Он живет лишь наедине с древностями, держась за них, как за обломки некогда устойчивого корабля. И снова вторая линия романа — история вещей и города, история прекрасных сооружений, вроде огромного деревянного собора, где ютился музей.

Хранитель древностей одинок. В том же музее, точнее, в библиотеке при нем — изуродованная бытом и жизнью суфразистка, которая пишет доносы, вдова, хранящая в стеклянной баночке пепел супруга, прибитые и таящие в страхе свои мысли люди. И только в разговорах с собутыльником, таким же одиноким, как он, выходят наружу мысли и оценки героя, опасные по тогдашним временам. Нет в книге злодеев и праведников, просто люди. А человек — слаб. И потому сам творит абсурд и бессмыслицу.

Роман был написан Домбровским после возвращения из лагеря и напечатан в начале шестидесятых годов. Однако он был о сталинском времени. Но странное дело: приходили в музей чекисты, какое-то дело стряпали, кто-то писал доносы, но... конец благополучен. Вернее не конец, а обрыв. Вдруг действие заканчивается и все. Только много позже, сидя в квартире у Домбровского, я узнал, что это был не конец романа. А попросту редактор выбросил сто с чем-то страниц. И конечно же, героя арестовали, и отсидел он свое, хотя потом и был освобожден — тогда же, кстати, когда был окончательно освобожден и автор романа. И вот тут после освобождения три главных персонажа: директор музея, его начальник и встреченный героем в лагере партиец сходятся и завершается роман по-Домбровскому: разом прорывая черно-белые границы добра и зла. Партиец, которого встретил в лагере хранитель древностей, стал... верить в Бога. Но верит он в него так же напористо и самозабвенно тупо, как некогда верил в правое дело своей партии. Верит, полагая, что только ему известна, как раньше классовая, теперь божественная истина. Ну, а герой? Он тот же. Он вечен и неизменен, как те

древности, которые он хранил. Он и тут оказывается не у дел среди новых верующих. Как раньше за интеллигентность и неверие в партию, ему выговаривают теперь за отсутствие должной, правильной веры в Бога. От него хотят непременно участия в диссидентских движениях. Как хотели, требовали от самого Домбровского. А он — другое. Он — писатель, мастер своего дела, он — хранитель древностей. И его двухкомнатная квартира на Преображенке была похожа на небольшой музей.

Квартирку ему пожаловал Союз Писателей, в члены которого он был принят. Там же и пенсию оформили не в 60, а в 120 рублей в месяц. У него бывало много разных людей. Встречал в передней, высокий, костлявый, в рубашке навыпуск и неряшливо застегнутых штанах. Распахивал длинные руки грабли для объятий. И твердым серо-голубым ледком глаз ощупывал возможное содержимое портфеля. И спрашивал: "Выпить есть?" Нет, вовсе не потому, что был алкоголиком, как иные хотели бы его представить. "Мы не пьяницы, — объяснял он досужей дамочке, — мы любители выпить..."

Мы были любителями выпить, потому что теплее становилось на душе и успешней шла беседа соединенных в одно друзей среди мертвящего уныния жизни.

Сразу у входа в его комнату висел портрет юноши, выполненный в манере Модильяни. "Автопортрет Модильяни, — говорил он всем, — подлинник. Мне его подарил сын Толстого". На стенах было много икон, гравюры по дереву, рисунки старых мастеров, многие из них были подлинными. "А эту икону, — показывал он на большой образ, — мне подарил Наровчатов". (Тот самый, который теперь главный редактор "Нового Мира", где, как выразился один из москвичей-писателей, сначала печатают кого надо, потом "корешей", ну а потом, для кого место останется.) Для Юрия Домбровского не оставалось места.

А ведь он очень хотел печататься, хотел славы, шума, карнавала. Страшно радовался, если его рассказику удавалось просочиться в неблагоприятной к нему советской прессе.

Жил Юрий Иосифович с женой Klarой и кошками, которых он очень любил. Детей у него не было. И порой, тяжело

"нагрузившись" он заваливался на старенький диван и забывался тревожными снами, рядом с полками старинных книг, картинами и рукописями, ненужными официальной советской литературе.

Знаток латыни и древнегреческого, человек энциклопедических знаний — он и сам был не нужен. Не нужен и, если хотите, такой, как он, был даже вреден в своей стране, хотя теперь никто его не преследовал. И, думаю, даже стукач за столом снисходительно улыбался и не доносил, когда в публичных местах или дома, в компаниях, он кричал: "Ненавижу! Ух, как ненавижу эту власть!" Или поколения пошли иные в рядах железных чекистов? Старые не пощадили бы и сейчас.

"Напрасно вас всех там не кончили", — заявил ему восьмидесятилетний маразматик, в котором сегодня вряд ли кто-нибудь признал бы "дедушку" Молотова. Было это в подземном переходе, возле киоска в Охотном ряду, где он, так же, как и Домбровский, покупал книгу воспоминаний маршала Жукова. Сказал это громко, чтобы восстановить свою справедливость в ответ на реплику Домбровского о том, что в лагерях сгубили людей больше, чем на войне. Кончилось тем, что старик-лагерник дал в морду другому старику — бывшему советскому властителю, сажавшему в эти лагеря. Потом сожалел и смеялся: "Ах, как глупо вышло!". Молоденький лейтенант милиции был в замешательстве и как поступить — не знал. Однако рассудил справедливо и Домбровского отпустил.

Домбровский был прекрасным, прирожденным актером. Когда-то до первой своей "посадки" он учился в театральном училище. Он умел преображаться на глазах. Если хотел, мог быть старым и жалким, и даже в росте уменьшался, но мог тотчас вырасти, стать импозантным и вельможным, каким он и был на самом деле...

Он любил жизнь. Но жизни не выходило в России. И быть может, поэтому он воплотил свое неутоленное желание карнавала в образе им созданного Шекспира, в романе "Смуглая леди сонета", выбрав местом действия Англию. Он был точен в такой степени, что его роман получил признание англий-

ских специалистов по Шекспиру. Роман перевели на многие языки, как, впрочем, были переведены и "Хранитель Древностей", и "Обезьяна приходит за своим черепом".

И вот тогда, единственный раз в жизни, появились деньги, и на недолгое время наступил карнавал. Наступил и прошел. А быт и лживость повседневности, убогость чувств — остались.

Не этот ли карнавальный взлет наложил отпечаток на сюжет "Смуглой леди сонета"? Печальны последние дни Шекспира. После блеска и надежд — пустыньность сельского края и враждебность некогда близких людей.

Наступило похмелье и у Домбровского. Друзья отшатнулись. То ли благодаря женам, которые рьяно боролись с пьянством, или дело было в другом: сам Домбровский, разглядев непривычную после лагерей жизнь, — жизнь эту не принял. Друзья шли в гору, и, возможно, он стал для них неподходящей и ненужной для знакомства фигурой.

Странная вышла история: в лагере жизнь была как бы более настоящей. В ней отсутствовала засасывающая тряпина быта. "Нет, — говорил Домбровский, — не пули, не великие противостояния нас уничтожат, нас погубит скверная, суетливая повседневность и мелкое благополучие. Понимаешь? Там я был свободен от всех оков. Я только жил там и думал".

"Да, Юрий Иосифович, — говорил наш общий друг, — не принял ты нашу жизнь". Это была правда. Порой он казался большим и сильным медведем, с трудом ворочался в мелком благополучии, и тягостно ему было от усилий не задеть, не поломать ловко пригнанные детальки бытия.

Кто знает, быть может, с ним случилось то же, что с нами, с некоторыми, во всяком случае, когда приехали мы на Запад.

Там, в лагере, для него каждый день был сплавлен из жизни и смерти и только самых главных проблем — хочешь или не хочешь, а ты должен их решать. Каждый день мог быть последним, в точности, как у Марка Аврелия, но, увы, вынужденно последним. И перед лицом этого главного все сиюминутное исчезало. Многие не выдержали и сломались. Некоторые — бесконечно возвысились.

Обо всем этом писал Солженицын, писал и говорил, но не верили. Не верили и Домбровскому, не понимали, отчего не рад обретенной "свободе". Не верят и нам, не понимают, почему мы не излучаем счастья, попав в мир благополучия на Западе. Дело в том, что жизнь здесь находится в таком же отношении к нашему прошлому, как свобода для Домбровского соотносилась с его лагерной жизнью. Мы обрели свободу, но вместе с ней и суету, и страсть к накопительству, и бесконечные заботы о секьюрити и гарантиях этого самого благополучия.

Там жизнь была истинней, потому что дьявольская диалектика той жизни, возможно, именно в силу ее уродливости, чуть ли не каждый день заставляла нас решать нравственные проблемы — быть или не быть предателем; сохранить или потерять достоинство; спасти или толкнуть человека — и каждое сохранение себя грозило обернуться неприятностями или даже лагерем. Поистине в советской реальности сознание — первично, вопреки утверждениям марксистов. Ибо каждая победа возвышала — не деньгами, не суетными благами, а тем, что была победой над самим собой. И, если существует движение от хлеба к духу, то, в каком-то смысле, мы попали в прошлое, когда приехали на Запад.

Жизнь для Домбровского в лагере была в этом смысле пределом истинности.

Однако он ненавидел лагерь и боялся его. Порой бредил наяву, бормотал: "Вот увидишь, увидишь, меня зарубят топорами". И никогда о своей жизни в лагерях не писал. Разве что в стихах, которые никому не давал, и читал лишь близким друзьям, когда приходили они не с пустыми портфелями.

**Когда, когда, когда, когда?**

**О бесконечные года.**

**Когда был взят под стражу Войтов,**

**Когда расстрелян был такой-то**

.....

**И были ружья всей страны**

**На нас вождем наведены...**

Последний его роман "Факультет ненужных вещей" творился на наших глазах. И всякую новую главу он читал нам либо у себя в доме, либо приносил с собой, появляясь в гости. Особенно туго шло дело с последними главами. Забраковано было пять вариантов. Пока, наконец, перед новым годом, когда собрались мы проводить год старый, он не выложил на стол рукопись, и прозвучал конец. Это было достойное завершение десяти лет работы.

Мы пили и желали друг другу удачи, пока один из нас не объявил, что ничего хорошего в новом году и, вообще, не будет. В этот момент взорвался стоявший в отдалении стакан. Наступила тишина, и мы стали размышлять о "знамении". Домбровский стал звонить разным знакомым и рассказывать о случившемся. На наших глазах рождались причудливые новеллы о взорвавшемся стакане и о том, что сулило нам это "чудо" в наступающем 75-ом году.

Истинное творение, — говорят древние китайцы, — больше создателю не принадлежит, оно становится сверхтекучим и ускользает от него. То же произошло и с новорожденным романом "Факультет ненужных вещей". В этой книге Домбровский как бы воплотил всего себя, раздробив на ипостаси свою душу и оживив ими сразу несколько человек.

Главный герой — это тот же "Хранитель Древностей", но теперь не пассивный созерцатель, а убежденный в своей правоте человек. Пока его не арестовали и не стали обвинять в самых нелепых преступлениях, он продолжал оставаться пассивным и отстраненным. Но когда во время допросов от него, невинного, потребовали признать вину и этим предать свое человеческое достоинство — он уперся. И чем дальше, тем тверже стоял на своем.

Его следователем в какой-то момент становится красивая женщина. Быть может, потому он был так откровенен в разговорах с нею. И возможно, поэтому осмелился ей сказать все, что думает по поводу этого правосудия и его справедливости.

Весь роман — это долгое и мучительное размышление над тем, как же так вышло все в СССР. Как вновь повторилось

библейское, и полстраны стало Каинами, а полстраны — Аве-лями. Только Бог не в небесах, а в Кремле. Кто виноват? "Ведь не садисты же сажали и убивали, — говорил Домбровский. — Нет! Садистов и психов не любили даже в гестапо. Обыкновенные, быдло — вот кто все делал. Утром стрелял в невинного, а вечером шел с женой в кино, играл со своими детьми".

Удивительным лейтмотивом звучит линия Христа и его распятия. О Христе рассказывает бывший поп, единственный человек, которому доверяет герой романа. Делится с ним своими взглядами. Позже мы узнаем, что этот поп и был тем, кто донес на нашего героя. Хотя сам он никак не может догадаться или, скорее, поверить в то, что такой человек способен донести. А как же тогда Христос, кому же тогда верить?

Быть может, в этой точке неявно происходит главная инверсия повествования. Надо верить не кому-то, а во что-то. И на сцену выступает сумасшедший, но на самом деле талантливый художник. Он совсем не прикидывается сумасшедшим, а, повесив на себя бубны и колокольцы, в невысказанном фантастическом костюме шествует по жизни, развлекая себя, разукрашивая для себя бездушность и казенщину мира. Прообразом этого художника послужил реальный человек, очень интересный художник из Алма-Аты, Калмыков.

Художник появляется и в последней сцене, где в темном парке, под чуть светящимися фонарями сидят двое: главный герой, которого выпустили после того, как был устранин Ежов, а Берия, занявший его кресло, кое-какие дела прекратил. И сидит следователь, который допрашивал и мучил нашего героя, уволенный в связи с той же сменой власти и дрожащий за свою шкуру.

Перед тем они пили водку вместе. Вот тут и появляется художник. Он — символ вечного искусства. Его причудливый яркий наряд, весело позванивающие бубенчики отрицают мрак и смерть эпохи. Отрицают этих людей, и пострадавшего, и мучителя, который вот-вот сам станет жертвой. Быть может, поэтому так оптимистично звучит конец романа, по крайней мере тот конец, который читал сам Домбровский на поро-

ге 1975 года. Погляди на нашу грешную землю какой-нибудь марсианин, не увидит он этих двух таких жалких, в сущности, схожих фигурок и не сделает он вывода никакого, а увидит эту яркую, броскую, хотя и одинокую фигуру художника, шагающего сквозь серость и скверну жизни!

Домбровский никогда не писал того, чего не знал. Быть может, поэтому Сталин показан в романе через видение сидящего в камере Зыбина. К заключенному он приходит и с заключенным разговаривает. По сути дела — это диалог с самим собой. Кто знает, быть может, Домбровский вел в долгие, бесконечные ночи этот диалог с вождем.

Более десяти лет он писал этот роман. И как только он был закончен, ему предложили его экранизировать на киностудии "Мосфильм", где директором, если не ошибаюсь, служит бывший генерал-чекист. В романе есть несущественная детективная линия. При желании можно было свести действие только к этой линии, без которой роман не пострадал бы. Но выбросили роман и оставили линию.

Домбровский пришел как-то и рассказал об этом предложении, вроде бы советоваться пришел, но, по-видимому, все было давно решено, и он давно согласился. Договор был подписан вмиг, и с режиссером Вульфовичем они стали работать над сценарием, который решено было назвать "Шествие золотых коней". В музее была вещица из золота, изображавшая лошадей и колесницу. Эта вещица и ряд других — пропали, и закрутилось уголовное дело. Отсюда и название. Не знаю, осталось ли оно сейчас. После трех лет самонасилия и уродования собственного произведения Домбровский, наконец, закончил сценарий.

Кажется, это был единственный случай в его жизни, когда Домбровский поддался искушению. От того ли, что устал, или доконало вечное безденежье, — трудно сказать. Почти одновременно с окончанием сценария, месяца три-четыре спустя, был напечатан его последний роман, о котором сам Домбровский часто говорил: "Вот закончу и можно помирать". Он вышел в Париже в издательстве "Имка—Пресс".

А еще спустя несколько месяцев Домбровского не стало. Исполнил свою задачу и ушел.

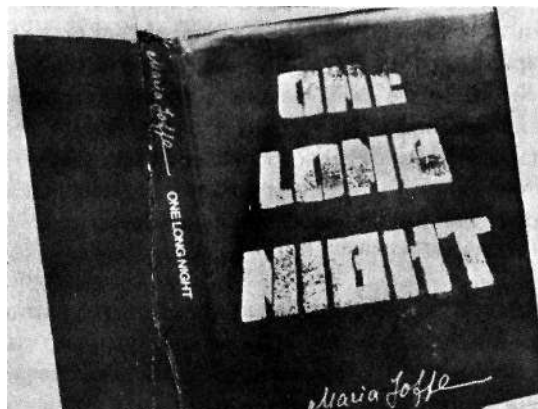
Трудно сказать, что там таится, в последнем мгновении жизни. Но, если в это мгновение нам выставляют отметки за совершенное, то я уверен — Ю. Домбровский получил наивысшую оценку за свое писательское дело.

МАРИЯ ИОФФЕ

**ОДНА НОЧЬ**

ПОВЕСТЬ О ПРАВДЕ

На русском и английском языках. Стоимость за рубежом — 7 долларов, в Израиле — 45 лир. На русском языке книга продается: Тель-Авив, магазин Болеславского, ул. Алленби, 72. Вскоре книга "Одна ночь" поступит в продажу на английском языке.



## "РУССКАЯ МЫСЛЬ"

"LA PENSEE RUSSE"

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ

Еженедельная газета "Русская Мысль" публикует широкий и объективный обзор мировой и советской политики и жизни в разных странах, помещает статьи на религиозные, философские, научные и литературные темы, пишет о достижениях культуры в эмиграции, сообщает о выставках, спектаклях, новых книгах и журналах.

С началом третьей эмиграции из Советского Союза "Русская Мысль" открыла свои страницы новым авторам, стала связующим печатным органом между диссидентами и живыми силами эмиграции. Газета систематически публикует документы Самиздата и свидетельства новейших эмигрантов, давая тем самым богатый материал социологам и историкам разных стран, интересующимся проблемами прошлого, настоящего и будущего России и Советского Союза.

Выходя в Париже, "Русская Мысль" откликается и на самые яркие и интересные события в "городе-светоче".

"Русская Мысль" прибывает в Израиль авиапочтой. Цена в розничной продаже — 6 лир. Газета продается в магазинах русской книги и киосках страны.





Ефим АТКИНД

## ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ КАК ПИСАТЕЛЬ

Серые начинают и выигрывают.

*Георгий Владимов.*

При жизни он вознесен в ранг полубога. Он возглавляет самое могущественное в мире государство. В дрожащих старческих руках он соединяет все мыслимые власти: государственную, партийную, идеологическую, военную, судебную. Его грудь украшена высшими орденами. Он облечен всеми титулами и званиями страны: он и генеральный секретарь, и маршал, и верховный главнокомандующий, и председатель президиума, и Герой Социалистического Труда, и... и... Во всех учреждениях висят его парадные портреты. Народ рассказывает о нем анекдоты — разве это не вершина славы? А он — завидует. Смертельно завидует тем, кого презирает и в то же время боится, у кого нет ни званий, ни власти, кто ничего не возглавляет и никого не страшит. Кто бы мог подумать, что, изгнав из их страны — Солженицына и Бродского, Синявского и Галича, он будет завидовать — им? Неужели ему мало быть всемогущим диктатором и непременно нужны лавры писателя?

1

Его грозный предшественник был примерно в тех же годах, что он, когда, бросив государственные дела, возомнил себя лингвистом и потряс научный мир. Две небольшие и не вполне грамотные статейки насчет необходимости внедрить марксизм в языковедение (это его глагол — *внедрить*) были встречены таким шумным восторгом, какого не удостоивался, наверное, ни один автор на свете; ибо фараоны, которых чествовали бы именно так, в печати не выступали. Пора вспомнить фантазмагорию сталинского переворота в науке; сегодня он кажется неправдоподобным бредом. Что могло заставить серьезных пожилых ученых нести околесицу? Неужели в то время вся страна сошла с ума? Вот лежит передо мной солидно изданная Учпедгизом книга "Вопросы синтаксиса современного русского языка" (1950), сугубо ученое пособие о суждении и предложении, категориях синтагмы, словосочетания, о присоединительных связях, о предложениях безличных и инфинитивных... Авторы всех статей, стараясь друг друга перекричать, с маниакальным упорством твердят лишние слова заклинания:

"...в свете основополагающих работ И. В. Сталина по вопросам языковедения..." (стр. 3).

"Гениальные труды товарища Сталина по вопросам языковедения, дающие новые, творческие установки прежде всего для всех работников в области филологии, имеют исключительно важное значение и для работ в области логики..."

"...в свете указаний товарища Сталина..."

"Согласно указаниям товарища Сталина..." (стр. 5).

"...советское языковедение в целом и советский синтаксис находятся в стадии исканий, широкие горизонты которым открывают руководящие работы товарища Сталина..." (стр. 14).

"Гениальные произведения товарища Сталина по основным вопросам языковедения открывают перед советской лингвистической наукой широчайшие возможности творческого развития и процветания." (стр. 127).

"По указанию товарища Сталина в основополагающей работе..." (стр. 327).

"...как указывает И. В. Сталин, процесс развития следует понимать не как движение по кругу, ...а как движение поступательное..." (стр. 327).

Страница за страницей. Академик В.В. Виноградов. Профессор П.С. Попов. Доцент В.П. Сухотин. Доцент Н.С. Поспелов. Знатоки лингвистической науки, русского синтаксиса. Что они городят? Не помешались ли? Или они издаваются над полоумным стариком? Гений всех времен будто бы учит нас тому, что процесс развития — движение поступательное! Он открыл, что грамматика "дает правила для составления предложений" и "есть результат длительной абстрагирующей работы человеческого мышления"! А знаменитый академик В.В. Виноградов произносит с торжественным придыханием: "И.В. Сталин учит, что именно благодаря грамматике язык получает возможность облечь человеческие мысли в материальную языковую оболочку." (стр.36). Учит! Подумайте только, чему он нас учит! Нет, право же, академик издается — не всерьез же декламирует! Пародия, эзопов язык... Увы, не пародия — так писали ученые мужи в 1950 году. И не под пистолетом. Добровольно.

Но ведь это было почти тридцать лет назад. В годы культа личности, когда "некоторых граждан незаконно репрессировали".

Утешительные слова! Культ, отдельные нарушения социалистической законности, репрессия, некоторые граждане, посмертная реабилитация... Если перевести на язык прямых и честных слов, получится иначе — опасно для слабонервных.

Но ведь все это было давно. Зачем старое ворошить? И еще так говорят: зачем сыпать соль на раны? Теперь все иначе. Ведь больше нет ни культа, ни личности.

## 2

Тот увенчал себя лаврами ученого. Этот стал художником слова. И все — вернулось. Снова низкопоклонничают, снова, как тогда, стараются перекричать друг друга, изображают искреннее, неподдельное, бескорыстное, неудержимое восхищение.

**"...огромный интерес советских людей к воспоминаниям товарища Л.И. Брежнева, их неопределимое значение для дальнейшего совершен-**

**ования..., усиления воспитания трудящихся..." Это пишет редакция "Литературной газеты" 1 мая 1978 года.**

**"С огромным интересом встретил советский народ, все прогрессивное человечество воспоминания Л. И. Брежнева "Малая земля". В своей второй книге "Возрождение"... Леонид Ильич рассказывает о первых послевоенных годах...", — это пишет та же "Литературная газета" неделей раньше, 26 апреля.**

Не ошиблись ли мы, в самом ли деле тут написано "все прогрессивное человечество"? 24 апреля в Москве собралась интеллигенция столицы, — так называемый "идеологический актив"; и все выступали, подчеркивая огромную мобилизующую роль книг "Малая земля" и "Возрождение" и "отмечая непреходящее значение указаний Леонида Ильича о первостепенной важности укрепления парторганизаций как основе повышения уровня всей партийной работы".

Все, что пишет газета дальше, представляется эскалацией бреда, читатель пропускает подобную ахинею. Выше было: "Указания... о важности укрепления... как основе повышения" — неужели это всерьез сказано? Для нас же нижеследующие строки имеют особенное значение именно потому, что они таковы. Итак, рассмотрим в них внимательно:

**"Подходить к воспитанию людей комплексно, оценивать его эффективность по результатам — этому учат произведения товарища Л. И. Брежнева. (А как еще можно воспитывать, если не "комплексно"? Как оценивать иначе, чем по результатам?) Они (произведения) дают коммунистам, всем трудящимся Москвы, как и всей страны, новый заряд творческой энергии, способствуют дальнейшему совершенствованию работы по осуществлению задач, связанных с превращением столицы в образцовый коммунистический город".**

Еле выписал: не знаю, кто автор этого сообщения в "Литературной газете", — оно подписано ТАСС. Знаю только, что анонимный автор в совершенстве владеет необходимым ему затемняющим, морочащим головы, оглупляющим слогом: "...способствуют... совершенствованию... по осуществлению ...связанных с превращением...", — тьфу! Однако, это тот же самый автор, который в 1950 году писал казенные панегирики о гениальных трудах товарища Сталина. Тот же самый — или все они на одно лицо?

**"Слушая речь Леонида Ильича, я думал о его книгах "Малая земля" и "Возрождение", которые сейчас широко читают и обсуждают в нашей**

стране, книгах, ярко повествующих о больших этапах нашего трудно-го, славного, великого пути..."

Это в газете от 1 мая пишет белорусский писатель Максим Танк, Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской премии 1978 года за никому не ведомую книгу стихов "Нарочанские сосны". Народный поэт Белоруссии, и прочая.

Гиперболы растут и растут, фантазмагория принимает опять черты кошмара. "Я думал о его книгах..." Уже и книгах! Оба сочинения, названные Максимом Танком, небольшие автобиографические очерки, вместе едва тянут на брошюру, "...о его книгах, ярко повествующих..." Яркое? Присмотримся к этой яркости.

### 3

**"Между строителями и эксплуатационниками обычно согласия нет, но Кузьмин и Дымшиц всегда находили общий язык, и конфликтов между ними я не припомню. Обком партии постоянно влиял на их отношения. В вопросе о графике оба с первых дней были со мной согласны, и в итоге он стал реальностью. Строгий суточный график увязывал воедино все работы, производимые разными управлениями, помогал контролировать твердые сроки ввода объектов."**

Не правда ли, яркое повествование? Какая свежая образность: "находили общий язык", "в вопросе о графике", "строгий суточный график", "твердые сроки ввода". Своеобразный писательский почерк, блестящее перо, неповторимый стиль! Кто бы еще нашел столь замечательные слова для характеристики взаимоотношений директора завода "Запорожсталь" и управляющего трестом "Запорожстрой"?

У автора речь идет о восстановлении заводов и сельского хозяйства в Запорожье, где он в 1946 году был "избран" (по рекомендации ЦК!) первым секретарем обкома. Люди делали титанические усилия, возрождая разрушенную немцами экономику, — это несомненно, и Л. И. Брежневу оно лучше известно, чем многим: он руководил восстановлением некоторых районов Украины. Однако, его мемуарные очерки в одном отношении своеобразны: так начальник штаба может написать о сражении, — оттуда, сверху, не видно, кто и отчего погиб, там не слышно стонов, там не месят болото кирзовы-

ми сапогами: в штабе спокойно. Командиры обсуждают планы компаний, а вечерами попивают коньяк. В очерках Брежнева нет ни рабочих, ни крестьян — одни директора и партийные секретари. Если случайно появится какая-то работница, то лишь потому, что барин ее отметил и потрепал по щечке:

**"Работали девушки хорошо. Во время празднования тридцатилетия Октября увидел их среди демонстрантов, крикнул в микрофон: "Привет бригаде Ани Лошкаревой!" Оглянулись, заулыбались..."**

Еще несколько теней мелькает на страницах очерков, — монтажники, шоферы. Сверху маленьких людей не видать. "Работали девушки хорошо": вот и все про "девчат, которые подавали бетон в тело плотины".

Разумеется, от генерала нельзя требовать, чтобы он в своих воспоминаниях говорил о простых солдатах. Все же надо подчеркнуть небывалый антидемократизм брежневских очерков. Идут годы 1946-1947. Есть нечего, карточная система на продукты, многочасовые очереди во все лавки, колоссальные цены в так называемых "коммерческих магазинах"; деревня перебивается с хлеба на квас (впрочем, нет ни хлеба, ни кваса). Концлагеря растут — они переполнены недавними военнопленными, возвращенными (или вернувшимися) из Европы, всякими "изменниками Родины", да интеллигентами "последнего призыва": ведь в августе 1946 года начался идеологический погром — речью Жданова о журналах "Звезда" и "Ленинград" и постановлением ЦК, которое положило конец сотрудничеству творческой интеллигенции с советской властью во время войны. 1946-1947 годы — важнейшая в истории страны пора, черные годы послевоенных разочарований и крушения иллюзий, разгула опричнины, мракобесия, бушевавшего во всех науках — и гуманитарных, и точных, — и во всех искусствах.

Всего этого Л. И. Брежнев не заметил. Он был занят одним — возрождением хозяйства. Это достойно всякого восхищения, но и странно. Или ему глубоко безразлично, чем питается население и что переживают литераторы? Читая мемуары Брежнева, мы невольно думаем: ну, что же, в те годы он не был прямым соучастником сталинских и ждановских преступлений: ему было некогда, он восстанавливал заводы. Так

вот, ради того, чтобы читатель пришел к такому выводу, Л. И. Брежнев и стал литератором. Он написал мемуары, в которых нет ни ползвучка о жизни народа, о политике в широком смысле этого слова, о судьбе культуры, о литературе, вообще об идеологии. Он — в стороне. Он занимается делом, пока другие болтают или проливают чернила и кровь. Взгляд на вещи и людей у него деловито-сторонний. Встречается в его очерках, например, Жданов; но как?

**"...без освещения работать вечером было нельзя. Достать же в области электролампочки было практически невозможно. И вот я решил обратиться с письмом в ЦК ВКП (б) к товарищу Жданову. Объяснил положение и просил прислать три тысячи лампочек. Прошло не более трех дней, и мы получили не только положительный ответ, но и лампочки."**

Таков товарищ Жданов — распорядительный и деятельный, внимательный и отзывчивый руководитель. А что в то же самое время Жданов — погромщик, который расправляется с писателями, композиторами, театрами, — это остается за кадром; ведь автора интересует только восстановление Запорожья. Сталин у него тоже встречается — но как?

**"Ночью мне позвонил И. В. Сталин, и разговор был серьезный. То, чего мы успели добиться, что еще недавно считалось успехом, обернулось вдруг едва ли не поражением. Изменились обстоятельства — не у нас в области, а в стране и в мире. Сроки ввода всего комплекса... предписали форсировать"**.

Таков Сталин — рачительный хозяин, серьезный и строго-требовательный руководитель. А что в это самое время Сталин готовится ввергнуть страну и весь мир в новую войну, что он истребляет и свою интеллигенцию, и целые народы, обреченные на депортацию, что он гноит миллионы граждан в лагерях, — это за кадром.

Автора интересует только восстановление Запорожья. Автор — хозяйственник. Его поле зрения ограничено: он прагматически мыслит, он технократ. Образ автора, построенный мемуаристом, весьма определен. Секретарь обкома Л.И. Брежнев — деловит, энергичен, исполнителен, инициативен в пределах данных ему заданий, самостоятельности в суждениях и оценках лишён, добропорядочен и — обыкновен-

нен. Ничто не выделяет его, кроме особых полномочий, данных ему Центральным Комитетом. Он думает, как все, говорит, как все, пишет, как все. Французы назвали бы этого рассказчика "Monsieur Tout le Monde". Безличность его слога может сравниться только с мертвенной безличностью его газеты "Правда".

Вот как он пишет (привожу разные типы изложения) :  
Повествование о событиях:

**"16 марта 1947 года вышло постановление Совета Министров СССР о новых сроках, следом еще одно — об ускорении монтажа оборудования, а 8 апреля Центральный Комитет ВКП (б) принял постановление о работе парткома стройки, то есть о ее партийно-политическом обеспечении. Трижды на протяжении одного месяца высшие партийные и государственные органы возвращались к нашим делам"**.

Характеристика персонажа:

**"В Днепропетровске у меня не сразу сложились отношения с Ильей Ивановичем Коробовым, директором крупнейшего в области металлургического завода имени Петровского. Он был представителем знаменитой рабочей династии, отец его работал обермастером в Макеевке, братья тоже были доменщиками, да, по-моему, и сыновья, а теперь и внук продолжает традицию. Семью Коробовых знал Сталин, она была известна в стране. И все бы ничего, но, как бы это помягче выразиться, человек иногда терял чувство реальности, бывал заносчив"**.

Размышления:

**"Не следует думать, что обилие критических замечаний свидетельствует о плохом состоянии дел. Соотношение как раз обратное: чем больше открытой, гласной критики, тем лучше идут дела. Труженики Днепропетровска успешно завершили четвертый пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства. Посевные площади в нашей области превысили довоенные... Раны, нанесенные Приднестровью тяжелейшей из войн, были залечены"**.

Еще размышления:

**"Приходилось мне в жизни выслушивать разные замечания и, как ни трудно иногда было, старался извлечь из них рациональное зерно, делал серьезные выводы, что в конечном счете всегда шло на пользу и мне самому, и делу. Однако, критику сверху, в общем-то все так или иначе принимают, куда сложнее обстоит с критикой снизу..."**

*(Бедный автор: сверху его теперь никто не критикует, потому что выше него никого нет, а снизу тоже никто, потому что не смеет. Каково ему, бедолаге, без критики?)*

Пейзаж:

"Довоенное Запорожье я знал хорошо... В памяти остались теннисные скверы, уютные площади с фонтанами, красивые жилые здания, которыми гордились запорожцы, их базы отдыха на острове Хортица и широкий зеленый проспект Ленина, тянувшийся через весь город до самого Днепра".

Внешнеполитические отступления:

"Началась "холодная война". Она воцарилась на долгие годы, по существу, на два десятилетия. Это был не первый и, увы, не последний случай, когда капиталистические державы, уповая на наши трудности, пытались диктовать нам свою волю, вмешиваться в наши внутренние дела..."

Иногда кажется, что перед нами — пародия. Словно выдумал талантливый писатель некоего рассказчика — бюрократа, который, начитавшись за многие годы газеты "Правда" и журнала "Коммунист", только так и умеет говорить. Что ни словосочетание, то готовый оборот из этих органов печати: "об ускорении монтажа оборудования", "не сразу сложилось отношения", "знаменитая рабочая династия", "терял чувство реальности", "обилие критических замечаний", "успешно завершили", "раны были залечены", "извлечь рациональное зерно", "шло на пользу делу", "критика снизу", "наши внутренние дела"... Нет, было бы странно ждать от видного государственного деятеля искрометного писательского дара, каких-нибудь особых стилистических ухищрений, выдающегося искусства слова. Не об этом речь. Интересует нас человек, личность. Но ее нет. Нет человека, способного по-своему, как-то иначе, чем любые другие люди, увидеть город; умеющего пережить радость или грусть; ну, хоть, обозлиться, выругаться, задохнуться от ярости. Ничего этого нет и в помине. Бывает, что рассказчик сердится. Я даже думаю, что в жизни он матерится. А в его мемуарной прозе это выглядит так:

"На одном из пленумов обкома мне пришлось критиковать секретаря Нововасильевского райкома КП(б)У... Я сказал тогда, что секретарь обкома — это в первую очередь крупный политический работник, представитель ЦК нашей партии в большом административном районе. А выступления некоторых наших секретарей похожи больше на доклады хозяйственников — в них не чувствуется политической

линии. Так вот и нововасильевский секретарь — хорошо говорил о тракторах и волах, а как дошел до партийной работы, сразу забуксовал. Так не годится!"

Это и есть — стиль социалистического реализма. Хрущев, сильно выпив, кричал о буржуях: "Мы им покажем кузькину мать!", в газете же на другое утро стояло: "Мы им покажем преимущества социалистического строя". Брежнев заменяет любое проявление человеческой эмоции пародийно-вежливым: "Так не годится". Лишь бы не осталось — чело-века! В новую пору уже не скажешь "культ личности" — ввиду принципиального отсутствия таковой.

Мемуары Брежнева, как всякое произведение словесности, имеют свою эстетику. Формулировать ее сущность довольно просто: эстетика штампа, или, что то же самое, эстетика серости. Ни одного словосочетания нельзя допускать, которое не было бы знакомо читателю "Правды" с малолетства. Ни одного непривычного эпитета. Вот еще раз эпизод об Ане Лошкаревой. Какие у "девчат" голоса? Разумеется, звонкие. Какое у них детство? "Голодное, военное". Какой жизнью они живут? "Полнокровной". Какая когорта тружеников? "Замечательная". Какие нам нужны призывы к действию? "Конкретные".

Сквозь эту стену, выложенную из шлакоблоков готовых выражений, не пробьется ни одно живое человеческое слово, ни одна непосредственная интонация. Шапмы ложатся плотнее друг к другу, нежели шлакоблоки, образующие стену. Там, глядишь, и травка вырастет. Здесь нет и не может быть ничего живого.

Эстетика штампа тесно связана с представлением об а л и ч н о с т н о м о б щ е с т в е . Все авторы должны говорить одними и теми же трафаретными оборотами, потому что все они на одно лицо; других же людей не бывает. Если кто говорит иначе, или уверяет, что видит иначе, — значит, он кривляется. И лучше всего его высечь — ну, нельзя розгами, так хоть словами: чтоб неповадно было изображать из себя оригинала. Подумаешь, какой "талантливый"!

Отгадайте, откуда эти цитаты:

1. "...строителей пригласили на открытое партсобрание. Говорили о новых задачах, о необычайно широком размахе работ, которые предстоит выполнить... Инженерные сети, очистные сооружения, животноводческие фермы, котельная, жилые дома..."

2. "С первых ее дней, помимо организаторской работы... пришлось уделить большое внимание работе партийно-политической. Эти вопросы решались фактически одновременно. Сложность состояла в том, что, в отличие от устоявшихся коллективов, все у нас тогда было в движении. Надо было решать вопросы жилья, быта, сферы обслуживания".

3. "Вопросы экономики являются предметом постоянной заботы партийной организации стройки. Эти вопросы рассматриваются, обсуждаются в коллективе бригад, смен и участков. ...Огромную роль в улучшении показателей сыграло то, что у нас почти шесть тысяч рабочих и служащих изучают вопросы конкретной экономики строительства..."

Все это кажется написанным одной и той же рукой, произнесенным одним и тем же коснеющим языком карикатурного бюрократа. Нет, авторы — разные. Первый отрывок — из очерка А. Итигина "Рабочие-лауреаты" (журнал "Звезда", 1977, № 11, стр. 162), второй — из очерка Л.И. Брежнева "Возрождение", третий — из выступления на XXII съезде КПСС М. Назарова ("XXII съезд КПСС и вопросы идеологической работы", 1962, стр. 247). Одного автора легче себе представить, чем троих близнецов. Однако, самое удивительное, что среди всех безличных самый безличный, среди всех шаблонных самый шаблонный, среди всех серых самый серый — глава государства и партии. Не значит ли это, что он — на своем месте?

## 4

Серость является принципом не только эстетическим, но и, так сказать, всеобъемлющим. Серый стиль — среднеарифметический, ведущий к тому, что один из его обладателей от любого другого не отличается никак; их не только можно перепутать, но и более того: их нельзя не перепутать друг с другом. Таков один из глубинных законов советской словесности; те, кто от него отклоняются, изначально подозрительны. Однако, тот же принцип наблюдается за пределами всякой

эстетики, поверх нее. Так, мысли, возникающие в голове советского человека брежневской эпохи, должны быть непременно серыми, то есть обыкновенными, банальными, не способными поразить ни парадоксальностью, ни яркостью, ни (упаси Бог) глубиной.

Мемуары Брежнева дидактичны — тут и там всплывают афоризмы или сентенции, которые, надо полагать, в скором будущем войдут в специальные сборники типа толстовских "Мыслей мудрых людей на каждый день". Можно посоветовать Госполитиздату выпустить "Красную книжечку" из сочинений Брежнева, наподобие "Цитатника" Мао-Цзе-Дуна, которым так дружно размахивали хунвейбины. Вот некоторые из бесчисленных поучений русского Кормчего:

- В работе первого секретаря нет второстепенных дел.
- Оглядываясь назад, вспоминая сделанное, мы обычно черпаем из этого опыта то, что годится сегодня и полезно на будущее.
- Дело — вот оселок, на котором познается цена человека.
- Партийный руководитель должен принимать товарищей по работе такими, каковы они есть.
- Принцип единоначалия полезен, но плохо, когда "единоначальник" перестает воспринимать критику.
- Если человек знает дело, предан ему, если добивается общего блага, то надо его поддерживать.
- Оградить руководителя от критики — значит его погубить.
- Тот, кто перестает воспринимать критику, потерян для дела.
- Критика не шоколад, чтобы ее любить.

Подобных поучений в мемуарах множество, и все они на таком же уровне государственной мудрости. Когда-то Флобер сочинил "Лексикон прописных истин", в котором ключевые слова распределены по алфавиту. Здесь, например, "Борода" определяется как "признак мужественности", а "Деньги" как "причина всех зол". Слово "дело" определено так:

- Всегда на первом плане;
- Женщина должна избегать говорить о своих делах;
- Самое важное в жизни;
- В этом — все.

Теперь прибавим еще одно определение:

- Оселок, на котором познается истинная цена человека.

Или еще другое:

— Если человек знает дело, предан делу,... то надо его под-  
держивать.

Чем хуже Флобера?

Выступая на последнем съезде комсомола, Л.И. Брежнев, проявляя такую же глубину и оригинальность мысли, объявил своим молодым слушателям:

**"Пора всем работникам идеологического фронта покончить с неизжитой еще кое-где практикой механического, бездумного повторения прописных истин, со словесной трескотней. Пора сделать правилом — говорить с людьми простым и доходчивым языком, писать, вкладывая в каждую фразу живую мысль и чувства. Это тоже вопрос качества и эффективности, причем на таком важном участке строительства коммунизма, как воспитание нового человека".**

Занято видеть, как этот классик прописных истин срывается с прописными истинами. Как этот мастер штампов и словесных шлакоблоков требует "вкладывать в каждую фразу живую мысль и чувства". Врачу, исцелился сам!

## 5

Мемуары Брежнева концентрируют в себе множество характерных особенностей советской жизни. Нужно только уметь их читать. Вот, например, беседа автора с неким секретарем райкома:

— Ты что, Александр Саввич? Говори прямо, что у тебя?

— У меня порядок... Вы радио слышали утром?

Отношения неравные: секретарь обкома говорит секретарю райкома ты; это — сверху вниз. А снизу вверх говорят в ты. Как в советской армии. Возраст значения не имеет: младший в ранге может быть вдвое старше годами; он все равно — ты. Откуда эта подлейше-антидемократическая привычка? Скорее всего — от крепостного права. Гринев старику Савельичу говорит "ты"; старик же обращается к желторотому барчуку почтительно. Знает ли Брежнев, что выдал свои феодальные корни, свое наследственное хамство?

Или вот еще. Подчиненный так привык не иметь мнения, что, когда ему "сверху" несправедливо попадает за то же са-

мое, за что вчера его хвалили, он это принимает как должное. Мало того: он, не споря, присоединяется к негодующему начальству и с головой погружается в самокритику. Ему и в голову не приходит отстаивать свое вчерашнее мнение; оно мгновенно уступает сегодняшнему, ибо "мое мнение — это мнение вышестоящего начальника".

Или еще. Брежневу известно, что его (как и все советское руководство) обвиняют в антисемитизме. Он не опровергает обвинения — нельзя, ведь опровергнуть — значит признать его наличие. Советские руководители всегда играют в странную призрачную игру: будто бы все, не названное ими, не существует. Слово "антисемитизм" произносится лишь относительно американцев или нацистов. Иностранного радио или прессы нет — их можно игнорировать. О том, что кто-то слушает или читает, мы знать не знаем. Но опытный советский читатель понимает, что Брежнев хочет опровергнуть обвинения в антисемитизме, когда он пишет:

— За смелое решение Михаил Николаевич Чудан и Айзик Вольфович Шегал были удостоены Государственной премии.

Или:

— Орден Ленина получили многие рабочие, инженеры, командиры производства, партийные работники. Среди них... И.А. Румянцев, М.Н. Чудан, А.В. Шегал, М.И. Недужко, В.Э. Дымшиц, А.Н. Кузьмин. Значилась в списке и моя фамилия (Подумать только, в одном списке с евреями!).

И немцы у нас тоже в почете. В доказательство этого невыраженного тезиса сказано: "...Франц Иосифович Маклес и Гордей Антипович Панкратенко не только отлили эту первую сталь, они сами разбирали стенки..."

А в это самое время немцы прозябали в Сибири, изгнанные из своей волжской республики. Но рассказывается ведь не про это!

И еще одна любопытная черта мемуаров: в их центре — Я, и не просто Я рассказчика, а Я хозяина (у которого, правда, есть свой хозяин, другой Я, с еще более прописной буквы).

"...Мы распределили обязанности между секретарями обкома. Назову те из них, которые выпали на мою долю: общее руководство областью, подготовка вопросов на бюро, сельское хозяйство, пропаганда и агитация, руководство работой облплана, обкома комсомола.

управлений МГБ, МВД, прокуратуры, кадровые вопросы. И во всей этой работе главное — люди, главное — понять и быть понятым ими”.

Интересно, что же "пришлось на долю" остальных секретарей? Еще есть облизполком, то есть советская власть — о ней ни звука. Мемуарист не пишет: "Я был полный, абсолютный диктатор, от которого зависела и экономика, и полиция, и суд, и молодежь, и все должности во всех учреждениях". Он привык к туманности формулировок, и привык настолько, что не замечает комизма: "Мы распределили обязанности между секретарями" — себе я взял все, остальные не в счет.

А уж раз первый секретарь обладает всей полнотой власти сверху вниз (и всей полнотой рабского подчинения снизу вверх), то понятно и вполне естественно звучат бесчисленные формулы такого рода:

- "На одном из заседаний я говорил..."
- "Я выступил в конце заседания..."
- "Я посчитал нужным добавить..."
- "Я вообще никогда не был сторонником грубого, крикливого, или, как его еще называют, "волевого" метода руководства" (то есть, я лучше Хрущева, — ведь "волевой" метод — это псевдоним последнего, никогда не называемого по имени).
- "Я сразу же настоял на увеличении тиража областных газет..."
- "Я поздравил строителей..."
- "Я не терял связи с краем..."
- "...сказал я в заключение..."
- "...сказал я на бюро обкома..."
- "Я лично для себя делаю такой вывод..."

\* \* \*

Язык очерков Л.И. Брежнева говорит о советском обществе, каким его видит или хочет видеть руководитель партии и государства, больше, чем говорит сюжет этих очерков. Разумеется, в них попутно рассказано и о том, как восстанавливались разрушенные войной промышленные районы Украины; в этом возрождении хозяйства есть своя патетика. Однако, внимательный читатель увидит в них и все остальное, о чем мы попытались сказать: эстетику серости и штампа, связанную с принципиальным, неодолимым стремлением к

обыкновенности, к бюрократической "уравниловке"; рабскую привычку безоговорочного подчинения начальству и деспотического помыкания низшими; самоупоенность хозяина, замаскированного привычными и обесмысленными фразами о "критике снизу" и самокритике; хитро завуалированный эзопов язык, позволяющий внушить опытному читателю некоторые невысказанные идеи.

Мемуары Брежнева — попытка самооправдания автора в глазах современников и потомства. Однако, это оправдание оборачивается убийственным самообвинением и заодно обвинением этого "общества равных" — нет, далеко не равных, но одинаковых, уравненных, нивелированных, — к осуществлению которого стремится нынешнее советское руководство. Стиль Брежнева — мемуариста — наиболее полное и страшное воплощение этой зловещей одинаковости и серости, которой, к счастью, нашу интеллигенцию подчинить не удалось и не удастся никогда.





*ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО*

*ЛевЛАРСКИЙ*

## **ЗДРАВСТВУЙ, СТРАНА ГЕРОЕВ! (из мемуаров ротного придурка)**

### **Часть 2. СОЛДАТСКАЯ СОВЕСТЬ**

Когда меня военные называли "придурком", причем вместе с моим папой, я так обиделся, что не захотел даже оставаться в этом неприветливом здании с колоннами на улице Кропоткина, откуда знаменитой ночью 16 октября 1941 года сбежала Академия Генерального Штаба Красной армии имени К.Е. Ворошилова.

Но мы оказались, как в тюрьме, — у дверей стояли часовые и никого из штатских не выпускали из помещения.

— Почему они нас оскорбляют? Я не хочу с ними ехать, — заявил я своему папе. Мое самолюбие было очень уязвлено.

В здании Академии осталась лишь ее административно-хозяйственная часть и начальство — генерал-лейтенант Веревкин-Рохальский, начальник Академии, так же, как и ее комиссар Калинин (как нам успели сообщить, родственник всесоюзного старосты Михаила Ивановича Калинина), подобно

"ЗДРАВСТВУЙ, СТРАНА ГЕРОЕВ!"

143

капитанам тонущего корабля, покидали свои посты последними.

Начальник Академии, когда-то знавший моего папу, взял его вместе со мной в эшелон, который должен был выехать в Уфу 21 или 22 октября. Конечно, все это дело организовала тетя, она звонила генералу и хлопотала за папу. Тетя, как всегда, командовала нами. Она решила, что папа должен ехать разыскивать свой институт, где его восстановили на работе накануне войны, а институт 16 октября убежал из Москвы в неизвестном направлении. Я уже договорился с соседом по квартире дядей Федей, что пойду к нему в истребительный батальон, который он организовал в помещении нашей школы. Тетя решительно воспротивилась этому. Она заявила, что мой долг в этот трудный момент — помочь больному папе, который почти ничего не видит, а без меня не сможет найти свою работу и стать полезным стране.

Конечно же, все получилось наоборот. Вместо того, чтобы помогать папе, я в Уфе тяжело заболел, и ему самому пришлось со мной возиться. Я стал для него только лишней обузой.

Комиссар Академии Калинин был очень недоволен распоряжением начальника. Не стесняясь нашего присутствия, он сказал генералу: "Куда я этих придурков дену? Как на довольствие их брать? Старика одного я бы еще как-нибудь пристроил, а для молодого придурка у меня места нет!" Родственник всесоюзного старосты был начальником эшелона.

— Пусть едут оба в вагоне с наглядными пособиями, — ответил генерал.

— Но там одни женщины, и гальюна в теплушке нет, — возразил комиссар.

Все же нас определили в одну теплушку с забытыми впопыхах в Москве генеральскими тещами и бывшими женами какого-то начальства. Среди придурков женского пола было несколько жен слушателей Академии, посланных на фронт с начальных курсов. Если память мне не изменяет, одна скромная дама представилась женой подполковника Гречко. Слышал я в нашей теплушке и другие, не менее громкие фа-

милиии: Конева, Черняховская, хотя и не помню, кем эти особы приходились будущим знаменитым полководцам — тещами, свояченицами или племянницами.

16 октября паника была ужасная. Какой-то генерал, видимо, в спешке ошибся: свою жену позабыл, а в эшелон прихватил чью-то чужую и уехал с ней в Уфу. Законная супруга, естественно, жаждала поскорей добраться до мужа, в вагоне ей сочувствовали, а она всю дорогу причитала: "Уж я ему харю разукрашу! Он у меня будет знать, придурок окаянный!"

### **МАНЬЯК ГИТЛЕР И ЧУТЬЕ ТОВАРИЩА СТАЛИНА**

Прежде, чем начать рассказ о своих фронтовых похождениях, я хотел бы объяснить читателям, не служившим в Советской армии, в каком смысле употреблялось слово "придурок" в военной среде.

В деревне так называли всяких дурачков. Моя няня часто меня ругала так. На нашем дворе "огольцы" обзывали придурками тех, кто притворялся, обманывал или симулировал.

В военном лексиконе этот термин имел совсем иное происхождение. Как известно, военный язык отличается лаконизмом, и поэтому в нем всякие длинные наименования обычно заменяются сокращенными словами.

Например, в свое время заместитель народного комиссара по военно-морским делам для краткости назывался "замком-помордел". Слово "придурок" — это тоже аббревиатура, оно расшифровывалось так: пристроившийся дуриком к командному составу.

Среди комсостава этим емким словом стали называть всяких выскочек и выдвигенцев на высокие командные должности, которых в Красной армии расплодилось особенно много в предвоенные годы, после сталинских чисток. Это время в учебниках по истории называется "периодом нарушения ленинских норм". Тогда наиболее квалифицированный и

способный командный состав Красной армии, имевший боевой опыт и прошедший через академии, был передислоцирован из военных лагерей и штабов в спецлагеря НКВД и там ликвидирован за редким исключением. Таким исключением, на его счастье, оказался разжалованный полковник Рокоссовский, который, говорят, имел стеклянный глаз, вместо настоящего, выбитого ему в период нарушения ленинских норм в спецлагере\*. Этот тщательно скрываемый им недостаток (как истинный военный, Рокоссовский, говорят, был большим сердцем и одерживал успехи не только на поле боя) не помешал ему быстро продвинуться на войне от полковника до маршала и стать одним из самых прославленных полководцев Второй мировой войны.

У папы было много друзей и знакомых из высшего комсостава, с которыми он когда-то учился в Военной Академии. Вероятно, они были не менее компетентными в военном деле, чем Рокоссовский и не менее успешно могли бы противостоять кадровым генералам Вермахта. Они не стали маршалами по причине все тех же нарушений ленинских норм.

Нашими соседями по дому оказались старые друзья нашей семьи еще со времен совместной жизни в гостинице "Астория", комбриг Николук и его жена, комбриг Минская, вероятно, единственная в истории женщина-генерал, "бой-баба", как называла ее няня. Как и Рокоссовский, они были поляки. Мы очень дружили с семьей комбригов. Достаточно сказать, что в домработницах у них служила родная тетя моей няни. Их дети Ленька и Фелка были на несколько лет младше меня. В 1937 году супруги-комбриги были переведены в Харьковский военный округ и там арестованы, а Ленька и Фелка попали в детдом — так мне сказала няня.

Из папиных друзей-военных я так же близко знал дядю Павла, папиного друга еще со времен гражданской войны. Он носил два "ромба", жил на Чистых прудах в военном доме, который потом стал называться генеральским. С его сыном Шуркой мы дружили. Дядя Павел не раз бывал за границей, с маршалом Тухачевским он был связан личной дружбой,

\* Мой папа в период нарушения ленинских норм фактически потерял оба глаза и был вчистую списан из запаса в расход за полной инвалидностью.

за что и поплатился. Его обвинили в утрате бдительности. Дядя Павел уцелел, после реабилитации он даже получил генеральский чин, но служить не стал. Во время войны он был сослан в Красноярский край, все его просьбы об отправке в действующую армию даже в качестве рядового были отклонены. Кстати, бывший его адъютант, случайно избежавший ареста, на фронте стал генерал-лейтенантом.

Ответственный пост в Красной армии занимал наш родственник, племянник моей бабушки, Урицкий, живший с ней по соседству в Доме правительства. Когда я его видел в последний раз, он носил три "ромба" и был начальником Главного разведывательного управления. Не могу себе представить, чтобы такой живой, энергичный и волевой человек, каким был комкор Урицкий, располагая данными о назначенном на 22 июня нападении немцев, мог бы спокойно ждать развития событий, не смея противоречить товарищу Сталину, убежденному в благородстве своего верного союзника Гитлера. Зато так поступил генерал Голиков, занявший пост начальника разведки Красной армии после ареста и расстрела дяди Семена. На карьере генерала Голикова этот провал несколько не отразился, он стал маршалом.

Говорят, у товарища Сталина было чутье на врагов народа — не знаю, верно ли это, но из всех папиных друзей-приятелей по Военной Академии не был арестован лишь один А. Власов, сослуживец тети Оли Минской. Когда перед войной для высшего комсостава были введены генеральские звания, он оказался в числе первых советских генералов. В числе первых он и изменил товарищу Сталину. Это свидетельствует о том, что и товарищ Сталин иногда ошибался в людях.

Папа в свое время рассказывал, что в Академии Власов очень хромал по политическим дисциплинам и обычно "сди-рал" у него конспекты по марксизму и политэкономии. Слово "эмпириокритицизм" он никак не мог выговорить. Его политическая отсталость, по-видимому, все-таки дала о себе знать впоследствии. Как известно, Власов, будучи способным военным, в политике действительно оказался полным придурком.

Втайне я мечтал стать военным, поэтому я жадно прислушивался к разговорам взрослых на военные темы, приставая к ним со всякими дурацкими вопросами... А спустя каких-нибудь 5—6 лет я столкнулся на фронте с генералами "новой" формации. Когда я мысленно сравнивал этих людей с теми блестящими военными, память о которых была у меня еще свежа, то они и вправду казались мне не настоящими генералами, а какими-то серыми, убогими придурками, случайно надевшими генеральскую форму.

Разумеется, мне, рядовому солдату, не пристало судить об их полководческих талантах, зато на этот счет я слышал немало убийственных отзывов штабных офицеров.

У меня же был один критерий, по которому я судил о военных. Все папины друзья-военные, арестованные в 37—38 годах, были заядлыми шахматистами. Николук утверждал, что военный, который не играет в шахматы, — это ноль без палочки. Мальчишкой в 12-13 лет я играл в шахматы уже на приличном уровне и, бывало, побеждал некоторых военных специалистов в шахматных баталиях.

Представить себе генерала, даже не имеющего понятия о шахматной игре или, в лучшем случае, играющего на уровне слабого третьеразрядника, я не мог. Это в моей голове не укладывалось.

Обычно все штабные оперативники в шахматы играли. Начальник оперативного отдела штаба 3-го горно-стрелкового корпуса полковник Кузнецов был довольно сильным шахматистом. Неплохо играл и начальник оперативного отдела штаба 128-ой гвардейской горно-стрелковой дивизии подполковник Иванов, мой хороший приятель, несмотря на нашу разницу в возрасте и в чинах. Между нами, подполковник Иванов величал своего шефа, начальника-штаба дивизии полковника Федорова, не иначе, как "придурком".

И подполковник Иванов, и полковник Кузнецов были прекрасными специалистами своего дела, но почему-то карьеры не сделали. А они могли бы стать, на мой взгляд, настоящими генералами. На их долю выпала участь штабных иша-

ков, вывозивших на своих горбах самую тяжелую и неблагодарную работу, а почести и награды доставались вышестоящему начальству, которое их цепко при себе держало и было незаинтересовано в продвижении по службе столь ценных работников.

Я уже упоминал о двух горе-генералах Григорьеве и Веденине, командовавших нашим 3-им горно-стрелковым корпусом. Правда, о прежнем комкоре, генерале Лучинском, в оперативном отделе отзывались очень хорошо. Лучинский, тоже начавший войну в небольших чинах, впоследствии стал генералом армии и занимал большую должность.

Конечно, среди генерал-придурков попадались и дельные мужики, которые в ходе войны, учась на своих ошибках, превратились в прославленных военачальников. Но сколько миллионов советских солдат они угробили зря, обучаясь "сталинской науке побеждать"?!

Готовясь к войне, Гитлер в отношении своего генералитета "ленинских норм" не нарушал. Он украл у товарища Сталина его мудрый лозунг: "Кадры решают все!" и офицерский корпус германского Вермахта не уничтожил. В результате этого хитрого маневра он получил такой перевес на первом этапе войны, что если бы не полководческий гений товарища Сталина, нам не одержать бы Великой Победы. Товарищ Сталин жестоко отомстил Гитлеру за плагиат, он предпринял ответный маневр: бросил на чашу весов столько десятков миллионов жизней советских людей, сколько потребовалось, чтобы чаша весов склонилась в нашу пользу.

Жалкий маньяк Гитлер с его больной фантазией оказался неспособен на ответ, потому и кончил плохо, отравился крысиным ядом в своем логове под развалинами имперской канцелярии в Берлине\*.

\* Маньяк Гитлер слепо следовал тактике античных вандалов — топить врага в его собственной крови. В отличие от него товарищ Сталин подошел к этому вопросу творчески. Гениально применив закон марксистско-ленинской диалектики о переходе количества в качество, он утопил врага в нашей собственной крови, чем и добился всемирно-исторической победы. Поскольку Китай по населению в четыре раза превосходит СССР, советские руководители, опасаясь, как бы китайцы не последовали мудрому примеру товарища Сталина.

Однако спустимся с небес и вернемся к нашим придуркам. Этот термин употреблялся не только для обозначения определенной категории лиц командно-начальствующего состава. Придурками также именовали некоторых солдат и сержантов, пристраивавшихся в тылу и считавших дурачками тех, кто погибал на передовой. Народ это был хваткий, прагматически настроенный, но, как говорят, в семье не без урода.

## ПРИДУРОК-ИДЕАЛИСТ

Как только я был мобилизован в армию, нашу команду из военкомата препроводили на пересыльный пункт, помещавшийся в школьном здании на Переведеновке.

В школьном вестибюле толпилась самая разношерстная публика. Были такие, как я, в гражданской одежде, с узлами, рюкзаками, чемоданами и даже домашними авоськами. Были солдаты с вещмешками, видимо, выписанные из госпиталей. В толпе шныряли какие-то темные личности в грязных ватниках, своим видом никакого доверия не внушавшие. Были и деревенские, сидевшие, как клуши, на своих громадных "сидорах", да еще державшиеся за них обеими руками.

Сопровождающий сразу же предупредил: "За вещами глядеть в оба — на пересылке много блатарей из заключения!"

В толпе я заметил высокого мужчину средних лет, очень выделявшегося своей интеллигентной внешностью, который, в свою очередь, обратил внимание и на меня. Мы оба были в очках. Я бы не решился подойти к нему первым, хотя сразу почуял в нем единственную родственную душу среди всего этого сброда. Высокий джентльмен подошел ко мне сам.

— Чекризов, Всеволод Иванович — представился он.

Я назвал себя.

— Лева, держитесь вместе со мной, со мной не пропадете,— сказал мне Всеволод Иванович таким тоном, будто нянчил меня с пеленок.

Я был весьма изумлен, увидев в его авоське складные удочки, мармышки, черпачки, сачки и другие принадлежно-

сти для рыболовства, включая баночки с наживкой. В моем рюкзаке при ходьбе гремели и перекатывались внутри доски шахматные фигуры, которые я взял с собой в армию. (Но шахматы — это все-таки не удочки.) Не только я, вся толпа глядела на эти удочки с таким ошалелым изумлением, что никто даже не решился спросить Всеволода Ивановича: зачем он их взял?

Не успели мы с ним перебраться несколькими словами, как раздалась команда: "Строиться!"

Держаться вместе с моим странным компаньоном мне не удалось. Нас сразу же разлучили из-за его высокого роста. Он оказался в строю правофланговым, а я где-то в середине.

Я представлял себе, что первым делом будут выяснять, кто служил в армии, кто бывал на фронте, имел ранения, кто пулеметчик, танкист или санитар.

К слову скажу, что и я ухитрился побывать на фронте еще в шестнадцать лет и успел даже каким-то чудом выбраться из немецкого окружения под Ярцевом и даже получить легкое осколочное ранение.

25 июня 1941 года я находился уже под Смоленском, мобилизованный вместе с огольцами из Новых домов, чтобы рыть окопы. В Москву вернулся в начале октября, причем вернулся, сам того не ожидая. Из-под Вязьмы, уже занятой немцами, мы лесами пробирались к своим, на фронт, а вышли на какую-то станцию под Малоярославцем, где был тыл. Кого ни спрашивали из местных, где Красная армия, никто ничего не знал. А тут как раз подошел дачный поезд, мы сели и поехали в Москву по домам.

Так что я тоже считал себя обстрелянным человеком, не смотря на то, что и винтовки в руках не держал.

Честно говоря, я и войны-то не видел, хотя побывал во многих передрягах, драпая от Смоленска до Москвы. Но теперь другое дело — теперь я в армии и попаду на настоящую войну...

К моему разочарованию, старшина почему-то не стал вызывать обстрелянных людей.

— Парикмахеры... два шага вперед! — скомандовал он. Несколько человек вышло из строя.

— Отойти в сторону! — скомандовал старшина. И парикмахеры отошли в сторонку и стали закуривать. За парикмахерами последовали сапожники, плотники, повара...

Меня, естественно, все это не касалось. Правда, в Уфе я поступил учеником слесаря-сборщика на моторный завод, но из-за болезни проработал в этой должности только две недели.

В Ташкенте, где оказался папин институт мирового хозяйства, я немного поработал чертежником и учился в вечерней школе. А потом нанялся в вагон-ресторан на неделю "кухонным мужиком", чтобы в этом вагоне приехать в Москву к тете. Там я хотел поступить учиться в институт, так как для военной службы меня признали непригодным из-за плохого зрения. Мне выдали белый билет, каковым мои мечты о военной карьере были перечеркнуты. Но и белобилетником я тоже недолго просуществовал. Спустя три дня, после того, как я предъявил билет в военкомат для оформления прописки, мне пришла повестка о призыве в ряды Красной армии. (Тогда я этому страшно удивился, лишь позже, уже эмигрировав из СССР, я убедился, что и в других военкоматах мира такой же бардак).

Судьба снова предоставила мне шанс, который я не захотел упустить. Тетя готова была бежать в военкомат, устроить там скандал, чтобы выяснить недоразумение и не дать отправить на фронт племянника с очками — 7,5 диоптрии, но на этот раз я оказался мужчиной, я не позволил ей над собой командовать...

После поваров были вызваны печники, истопники и стельщики, затем старшина скомандовал: "Художники, два шага вперед!"

И вот я увидел, что мой новый знакомый с удочками и мармышками отмахал два саженных шага, причем сделал и мне знак последовать за ним. Я не был художником и считал себя не вправе выйти из строя. Тогда Всеволод Иванович сказал старшине, указывая на меня: "Мы с ним оба художники".

— Раз художник, чего стоишь? Оглох, что ли, — зарычал старшина. — Два шага вперед!



Видя мое замешательство, Всеволод Иванович сделал несколько шагов в мою сторону и, довольно бесцеремонно дотянувшись своей длинной рукой до моего плеча, вытолкнул меня из строя.

— Он со странностями, не обращайте внимания, — сказал Всеволод Иванович старшине.

Когда он меня дернул, шахматы в моем рюкзаке загремели...

— Что это там у тебя гремит? — удивился старшина.

— Фигуры... — объяснил я.

Старшина смерил меня удивленным взглядом.

— Фигуры? А яйца у тебя тоже гремят?!

После этого мы присоединились к парикмахерам, сапожникам и истопникам под громкий хохот всего строя.

— Лева, вы ведете себя не солидно. Мы договорились, что будем держаться вместе, — укоризненно сказал Всеволод Иванович.

— А если узнают, что я не художник. В каком я окажусь положении? — спросил я.

— Вы, действительно, ребенок, Лева. Ответственность беру на себя я, пусть вас угрызения совести не терзают. Вы помните, как Остап Бендер работал на пароходе художником?

Я, конечно, помнил, как великий комбинатор с Воробьяниновым выдавали себя за живописцев и изобразили такой транспарант, что едва унесли ноги с парохода. Мне такая перспектива явно не улыбалась.

— Между прочим, — добавил Всеволод Иванович, — я знал Остапа Бендера лично.

И тут раздалась команда: "Придурки, выходи строиться!"

Парикмахеры, сапожники, жестянщики, портные, повара встали на то место, где только что стоял строй, который куда-то увели.

— Художники, а вас это не касается? — крикнул старшина. — Эй ты, фигура с яйцами...

Всеволод Иванович, не закончив рассказа, мигмом пристроился к парикмахерам и жестянщикам, а вслед за ним и я.

Тогда я и представить себе не мог, какую роковую роль в моей жизни сыграет милейший Всеволод Иванович Чекризов и воинский чин, к которому он меня приобщил. Ведь именно благодаря незабвенному Всеволоду Ивановичу я избрал себе профессию и стал на скользкий путь художника советской книги.

Демобилизовавшись после войны и будучи принятым в Московский энергетический институт, я его разыскал через адресное бюро. Всеволод Иванович проживал на Метростроевской, рядом со станцией метро "Дворец Советов", и пришел в неопикуемый восторг, когда я к нему явился в солдатской гимнастерке, увешанный семью медалями.

Узнав, однако, что я собираюсь стать физиком и уже зачислен на электрофизический факультет МЭИ, он в ужасе закричал: "Лева, вы губите свой талант! Вы должны поступать в художественный институт, это говорю вам я!" На его письменном столе стоял большой портрет Ильи Ильфа с собственноручной надписью писателя: "Моему любимому Севе: что посеешь, то и пожнешь".

Мог ли я не посчитаться с мнением человека, которого так любил сам Илья Ильф, столь почитаемый мной.

Я плюнул на МЭИ и решил перейти в Московский полиграфический институт на художественно-оформительский факультет. Как и все в жизни, эта акция прошла у меня не совсем гладко.

Директрисой института была супруга небезызвестного Георгия Максимилиановича Маленкова. Если не ошибаюсь, ее фамилия была Голубкина. Она наотрез отказалась вернуть документы мне и еще одному "перебежчику", с которым мы явились вдвоем для храбрости. А без документов не брали в другой ВУЗ.

Эта властная толстая дама, напоминавшая внешностью самого Георгия Максимилиановича (говорили, что фактически она и есть оргсекретарь ЦК), была оскорблена нашей изменой. Выручил мой напарник, некто Нейгольдберг, тоже фронтовик, демобилизованный старший лейтенант, переметнувшийся из МЭИ в МГУ на истфак.

Когда Голубкина нам отказала, Нейгольдберг горько заплакал. А Голубкина — хоть и была супругой Маленкова, в то же время была и женщиной — не выдержала слез фронтовика-офицера. Она приказала ему, а заодно и мне, документы вернуть.

Ставши художником, я много лет встречался с Всеволодом Ивановичем в издательствах — он работал фотографом и в этом качестве вышел на пенсию.

...В распредпункте на Переведеновке Всеволод Иванович развил бурную деятельность, он доставал краски и материалы, необходимые для оформительской работы, денно и ночно был в бегах и хлопотах. Под мастерскую нам отвели химический кабинет. Спали мы с ним на столах, служивших прежде для школьных опытов. Когда он стал меня учить тайнам художественного мастерства, то неожиданно обнаружилось, что я рисую намного лучше своего учителя.

— Лева, вы талант! — заявил он. — Когда вы станете знаменитым художником, не забудьте сказать, что это я открыл вас.

Наше безбедное существование на пересылке вначале омрачалось недовольством начальства, которое никаких результатов наших трудов не видело.

Но Всеволод Иванович это предубеждение без особого труда развеял и, по его словам, с начальством установил неплохие отношения. А с замполитом он якобы даже договорился вместе поехать на рыбалку.

В школе я по рисованию не очень успевал и эти уроки не любил. Зато на других уроках всячески изгилялся, рисуя карикатуры на учителей. Особенно мне удавался наш директор школы Михаил Петрович Хухалов, кавказский человек, являвшийся на уроки истории в черкеске с газырями и с громадным кинжалом на поясе. Михаила Петровича я рисовал во всевозможных ракурсах, даже верхом на свинье в одежде Юлия Цезаря, по имени которого его прозвали. Он преподавал историю, а "Юлием Цезарем" его звали за то, что, когда он излагал историю убийства этого тирана, то для иллюстрации материала выхватывал из ножен кинжал и кричал: "Юлия

Цезаря убили кинжалом!" Его любимой фразой была: "Историю делают не всякие там людовики-мудовики. Историю делают трудящиеся и служащие, — сказал товарищ Сталин".

И вот, вспомнив на Переведеновке свое недавнее школьное развлечение, я решился нарисовать сатирический плакат и повесить его в вестибюле, чтобы все видели, что не только парикмахеры, но и художники в поте лица трудятся.

На большом листе бумаги, который откуда-то раздобыл Всеволод Иванович, горячо поддержавший мою идею, я изобразил Гитлера верхом на свинье. Когда я изображал в таком виде Хухалова, все приходило в дикий восторг, так как знали ненависть нашего директора к этим неблагородным животным. Стоило свинье из соседних барачков зайти на школьный двор, как Михаил Петрович, рыча, словно тигр, срывался с урока и несся во двор, чтобы покарать нарушительницу школьной границы.

Гитлеру я тоже пририсовал хвост и вдобавок рога и сделал подпись: "Не так страшен черт, как его малюют, — сказал товарищ Сталин".

Товарищ Сталин действительно сказал в какой-то своей речи такие слова про негодяя Гитлера, потерявшего человеческий облик, и они все время цитировались в газетах.

Но вечно ходивший "под мухой" замполит нашей пере-сылки газет не читал, это и сыграло роковую роль в оценке моей художественной идеи.

В восторге от открытого у меня таланта Всеволод Иванович, как драгоценную ношу, понес мое произведение замполиту, но вернулся от него белый, как бумага.

— Лева, — еле выговорил он дрожащими губами, — вас приказали немедленно отправить в маршевую роту. Зачем вы приписали туда товарища Сталина? Вы не можете себе представить, что я сейчас пережил... Если бы я не сказал этому идиоту, что подарю ему свой фотоаппарат взамен вашего плаката, мы бы вместе загремели под трибунал.

В доказательство он представил мне клочки бумаги, оставшиеся от плаката. На всякий случай, мы стали рвать эти клочки

ки на еще более мелкие кусочки, чтобы нигде и никогда не осталось вещественных улик.

Всеволод Иванович был расстроен неблагоприятным для меня поворотом событий значительно больше меня. Он чувствовал себя передо мной виноватым и, когда я уходил с пересылки, даже пытался всучить мне свои удочки и мармышки, стремясь загладить свою вину, но это богатство мне было ни к чему.

— Лева, куда бы вы ни попали, обязательно скажите, что вы художник. И если будут спрашивать парикмахера или художника, смело выходите из строя.

С Переведеновки до Казанского вокзала, откуда я уже однажды отправлялся из Москвы в глубокий тыл, а теперь надеялся отправиться на фронт, наша маршевая команда топала пешком. Всеволод Иванович долго провожал меня, неоднократно повторяя свое напутствие.

Я решил не следовать совету Всеволода Ивановича, роковая встреча с которым нарушила мои жизненные планы.

Первый план, как читателю уже известно, вынашивался в моей душе много лет. Я мечтал стать военным и сражаться с фашистами. План этот рухнул по вине моей тети: если бы я ее не послушался и пошел бы в батальон к дяде Феде, нашему соседу по квартире, я бы попал на фронт еще в 1941 году, причем без всякой медкомиссии.

Правда, тетя сказала, что, как только мы с папой разыщем его институт, я могу вернуться к ней в Москву и поступать, как мне угодно, хотя считала, что с моим слабым здоровьем мне на фронт идти нельзя. Сразу же простужусь и заболею, не говоря уж о моей близорукости.

Момент выезда из Москвы с Академией Генерального Штаба в высшей степени приятном обществе офицерских жен, тещ и своячениц я уже описал. Не нужно обладать большой фантазией, чтобы представить, что делали в дороге офицерские жены (кто прожил с ними хоть день в коммунальной квартире, тот может это себе представить). Я лишь скажу, что до папиного института мы добிரались почти год, а когда, наконец, добрались в Ташкент, там меня на допризывной комиссии сразу забраковали вчистую.



Когда я оправился от этого страшного удара, у меня созрел другой план: стать ученым и изобрести гиперboloид, подобный описанному в книжке Алексея Толстого "Гиперboloид инженера Гарина". При помощи моего "луча смерти" Красная армия сокрушит любого врага. Но для этого надо сначала окончить институт, что я и собирался сделать, если бы, к моей великой радости, не пришла уже упомянутая повестка из военкомата, которая и привела меня на уже упомянутую Переведеновку.

Перед лицом фронта тетя настаивала на гиперboloиде, я же заявил, что гиперboloид от меня не убежит, и ратные мечты вспыхнули в моей груди с новой силой.

Но едва я встал в строй, как на моем пути к фронту возникло совершенно непредусмотренное препятствие — я, сам того не ожидая, как уже знает читатель, оказался в придурках. Покидая пересылочный пункт на Переведеновке, я, согласно моему плану, предполагал, что наша маршевая команда направляется в сторону фронта, где нас обмундируют, вооружат и бросят в бой. И тогда я совершу какой-нибудь подвиг, а если потребуется, отдам свою жизнь за родину и лично за товарища Сталина. Если я погибну, то на моей груди обнаружат письмо с адресом: "Москва, Кремль, товарищу Сталину", в котором я сообщу товарищу Сталину о страшной ошибке, допущенной НКВД в отношении дяди Марка и моего папы, и попрошу его, как погибший герой, обоих полностью оправдать.

Я не сомневался: как только мое окровавленное письмо доставят товарищу Сталину, он сразу же вызовет кого следует и прикажет удовлетворить мою просьбу.

— У такого героя, — скажет товарищ Сталин, — родственники не могут иметь никакого отношения к предателям родины и троцкистским двурушникам.

Если же я стану героем, но не погибну — еще лучше. Я сам тогда обращусь к товарищу Сталину лично. Тогда я еще не знал пословицы "Солдат предполагает, а начальство располагает". Поэтому все получилось наоборот.

Наша маршевая команда поехала не на фронт, а в тыл, еще более удаленный от фронта, чем Москва, в город Горький, бывший Нижний Новгород.

Нас привезли в 193-ий запасной стрелковый полк резерва Главного командования, из которого уже посылали на фронт маршевое пополнение.

Но это еще полбеды. В запасном долго не держали. Беда произошла, когда меня из-за моих очков послали на комиссию. Правда, на комиссии я симулировал, притворялся, будто вижу лучше, чем на самом деле, но полностью обмануть врачей мне не удалось. Мне дали нестроевую статью, написав, что в военное время я "ограниченно годен с коррекцией", то есть в очках, и могу быть использован только в тылу.

В результате получилось ни то ни се: ни фронта, ни гиперboloида... Если бы я знал, что так случится, я бы, наверное, послушал тетю и выбрал гиперboloид, а не Марьину Рошу, под городом Горьким, где мне предстояло бесцельно окопываться до конца войны в качестве придурка при клубе 3-го запасного батальона.

Правда, я мог попроситься в стройбат, но там, говорили, еще хуже, чем в тюрьме. Придурки же: парикмахеры, сапожники, печники и прочие, которых оставили работать в запасном полку, неплохо устраивались.

Теперь я оказался уже не перед выбором — фронт или гиперboloид, а стройбатовец или придурок.

После истории со злополучным плакатом я поклялся никогда в жизни не брать в руки кисть, но и с бухты-барахты назваться парикмахером у меня не хватило смелости. С другой стороны, в ординарцы со своими данными я явно не годился. Бравый солдат Швейк был не по моей части. Вот и получилось, что не оказалось у меня другого выхода, как последовать наказу незабвенного Всеволода Ивановича, последними словами которого были: "Лева, если будут вызывать художников, выходите из строя".

Диплома об окончании Академии художеств предъявлять не требовалось, а мой новый начальник, замполит 3-го запасного батальона старший лейтенант Дубин в изобразитель-



ном искусстве, по его чистосердечному признанию, "ни х... не петрил". (До армии он был колхозным бригадиром.)

И все же, когда меня определили в бригаду художников при батальонном клубе, я ужасно испугался, что буду разоблачен, как самозванец. Но в этой "артели богомазов", как ее называл замполит Дубин, и был лишь один настоящий художник. Но и он обычно отсутствовал на спецзаданиях — писал портреты полкового начальства. Все прочие были талантливыми самородками. Один, например, Хряков, был специалистом-профессионалом по Ленину. Правда, он умел рисовать портрет Владимира Ильича только в одном ракурсе, а именно в том, в каком он был изображен на "красенькой" тридцатирублевке. Портрет великого вождя этот самородок насобачился рисовать, изготавливая фальшивые купюры. В результате он много лет проработал художником в ГУЛаге, опять же числясь специалистом по Ленину. А теперь благодаря Владимиру Ильичу Хряков, по пути на фронт, прочно осел в запасном полку.

Другой самородок был специалистом по гербам и эмблемам боевой славы. Он напрактиковался в своей области, подделывая печати и бланки. Третий уже во время войны стал специалистом по изготовлению хлебных карточек.

Кроме бывших заключенных, считавших себя профессионалами, было несколько художников-любителей, мнивших себя гениями, они, в основном, разглагольствовали на темы об искусстве и пили разведенную спиртовую политуру, употребляющуюся в качестве разбавителя для красок.

В этой теплой компании, только и думавшей о том, как бы не угодить на передовую, я сразу же стал объектом насмешек из-за своих мечтаний о фронте.

Даже сам замполит Дубин, которого богомазы, конечно, окрестили "Дубиной", поднял меня на смех, когда я обратился к нему с просьбой об отправке меня в маршевую роту.

— Сиди и не рыпайся со своими двойными рамами! На фронте ты нужен, как мерину х.. Одна помеха, — ответил он мне со своей деревенской непосредственностью.

В моем положении нормальный придурок не сетовал бы на судьбу. Клубные художники, баянисты, киномеханики жили вольготно, полковой распорядок и строй их не касались, ибо они опекались политчастью. Наиболее солидные люди даже обзавелись временными семьями и ночевать ходили в город. Но для придурка-идеалиста, каковым был я, такая жизнь казалась невыносимой. Сидеть в глубоком тылу и малевать лозунги в то время, как на фронтах гремят бои и солдаты ходят в атаку?

Как я завидовал солдатам маршевых рот, покидавшим полк с лихой песней:

**Ордена-медали нам страна вручила,  
Это знает каждый наш боец.  
Мы готовы к бою, товарищ Ворошилов,  
Мы готовы к бою, Сталин — наш отец.**

**Эх, в бой за родину, в бой за Сталина,  
Боевая честь нам дорога.  
Кони сытые бьют копытами  
Встретим мы по-сталински врага...**

У богомазов была своя жизнь и свои песни, в которых они, правда, обращались к товарищу Сталину и Ворошилову, однако, на свой лад. Чокнувшись разведенной политуры и запершись, они весело запевали в своем клубном бараке:

**Ордена-медали нам ни х... не дали,  
Это знает каждый наш боец.  
Мы не хотим в бой, товарищ Ворошилов,  
Мы е... фронт, Сталин — наш отец...**

### "ГОРЬКОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ"

Несколько слов о нашем запасном 193-ем резерва Главного командования стрелковом полку, в котором я прослужил почти полгода. Стоял он в громадных лагерях в районе Марьиной Рощи. В одном только нашем батальоне насчитывалось больше солдат, чем в целой фронтовой дивизии. Непрерывным потоком шло от нас пополнение на Запад, "193 запасной" был известен на всех фронтах Отечественной войны, но

называли не резерва Главного командования, а "Горьковским мясокомбинатом".

Однажды я вместе со школой был на экскурсии на Московском мясокомбинате имени Микояна и могу удостоверить, что это прозвище не было уж таким беспочвенным — производственный процесс, который нам показывали, действительно очень напоминал распорядок запасного полка резерва Главного командования. Наш полк представлял собой огромное предприятие по производству пушечного мяса, да простят меня незабвенные Кукрыниксы, ибо на их плакатах в качестве пушечного мяса выступали исключительно военно-служащие Вермахта. Если так, то наш полк был исключением. Со всех концов страны поезда доставляли на его главный распределительный пункт разношерстное человеческое сырье, где оно перемешивалось, обдиралось догола, обстригалось и очищалось от волосяного покрова и пропускалось через вошебойки, бани и каптерки. Обработанное таким образом сырье уже в виде полуфабриката поступало на батальонные конвейеры, где доводилось до солдатских кондиций, проходя через плацы, стрельбища, пищеблоки, фильтры особого отдела. Затем "готовая продукция" приводилась к присяге и погружалась в эшелоны, отправляющиеся к местам назначения. На фронте готовая продукция перемалывалась, так сказать, жерновами войны, разделялась на две части: одна часть ложилась в братские могилы, другая — в госпиталя.

Славная была шутка: "На войне у солдата два выхода — либо в "Наркомзем", либо в "Наркомздрав". После "Наркомздравицы" солдаты опять попадали на полковой распределительный пункт, и процесс начинался сначала.

### УДИВИТЕЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН

Личный состав полка делился на три категории: постоянный, переменный и придурочный. К постоянному составу относилось все начальство, начиная от командира отделения и кончая командиром полка. Переменный состоял из массы, непрерывно проходившей по полковому конвейеру, а придур-

рочный состав выполнял функцию рабочих на конвейере или обслуживал начальство. Приуменьшить роль придурочного состава было бы глубокой ошибкой. Если бы, к примеру, придурки забастовали, как эксплуатируемые рабочие при капитализме, наш "Горьковский мясокомбинат" тотчас бы встал и перестал посылать пополнение на фронт. Но, поскольку при социализме забастовок не может быть, это исключалось.

Статус придурков был необычным, ибо они существовали только фактически, а юридически их как бы и не было. Более того, приказом наркома обороны придурки были строгойше запрещены, их должны были истреблять, словно вшей, путем отправки на передовую.

Вышестоящие политические инстанции вели с придурками борьбу не на жизнь, а на смерть. Они без конца слали в наш полк ревизоров, инспекторов, поверяющих, целые комиссии, которые месяцами проводили расследования, пытаясь придурков выявить, изловить и уничтожить. Однако на моей памяти ни один придурок так и не был захвачен живьем, несмотря на то, что, согласно секретным сведениям, поступавшим в вышестоящие политические инстанции, в нашем полку расплодился невероятная тьма сапожников, парикмахеров, жестянщиков, столяров, портных, печников, художников, а также заштатных писарей, кладовщиков, каптенармусов и бухгалтеров и даже специалистов по самогонварению, укрывавшихся от передовой.

Агентурные данные, которыми располагало Главное политуправление, указывали на то, что где-то в дебрях Марьиной Рощи придурки гнали самогон в промышленном масштабе, оборудовав для этой цели небольшое предприятие и используя в качестве сырья казенное продовольствие.

Специальная комиссия расследовала это дело и ровным счетом ничего не обнаружила, хотя и понесла человеческие жертвы. Рассказывали, что комиссия допустила просчет, отправившись на поиски самогонщиков без противогазов. В результате, когда она приблизилась к предполагаемому местонахождению подпольного завода, алкогольные пары

(являвшиеся побочными отходами производства) вызвали у членов комиссии такое опьянение, что один из них, потеряв равновесие, упал в пруд и утонул. Пока его товарищи после опьянения пришли в себя, прошли целые сутки, и утонувшего спасать уже было поздно.

Комиссии по борьбе с придурками работали во всех батальонах, рылись в штабных списках и документах, шныряли по всему расположению.

Видимо, работа у поверяющих была настолько суетная, что за какую-нибудь неделю они успевали износить не первого срока обмундирование, в котором к нам прибывали. Во всяком случае, убывали они из полка, как правило, в новеньких с иголки шинелях, хорошо пригнанных по фигуре, и специально пошитых для них хромовых сапогах. Вместе с тощими портфельчиками с зубными щетками и бритвами они увозили с собой в Москву солидные тучки с американскими консервами и бутылками марьиногорского первача для передачи вышестоящему начальству взамен так и не обнаруженных придурков.

Этот удивительнейший феномен природы объяснялся очень просто: все полковые придурки, за исключением нестроевиков, числились в списках переменного состава. Сапожник Васька в списке значился вторым номером ручного пулемета 1-го отделения 3-го взвода 4-ой стрелковой роты, портной Сашка — стрелком, ординарец Берлага — связным и т.д. и т.п. Днем они сапожничали и портняжничали, обслуживая начальство, или гнали для него самогон, а ночевать ходили в ротные землянки, где за ними держали места, приличествующие ротной интеллигенции.

Поверяющие применяли одну и ту же тактику, которая в полку давным-давно была известна: среди ночи поднимали роту по тревоге и сверяли наличный состав со списками. Получалось полное совпадение, что и удостоверялось соответствующими актами. Все пулеметчики, стрелки и связные находились на своих местах.

Конечно, начальству в некоторых случаях приходилось идти на жертвы и придурков, которые его поили и обували, так же бросать в пасть войне.

"Горьковский мясокомбинат", как и всякое соцпредприятие, работал неритмично из-за перебоев с поставками живого сырья. Иной месяц под угрозой срыва оказывался план "по валу" и во избежание его срыва прорехи в спешном порядке затыкали парикмахерами, портными или поварами. Их отправляли на фронт с маршевыми ротами, где они и значились в списках стрелками, пулеметчиками или разведчиками.

### Я И РЯДОВОЙ АЛЕКСАНДР МАТРОСОВ

Однажды такая участь чуть было не постигла артель богомазов, которые здорово подвели замполита Дубину. Богомазы так загуляли на чьей-то свадьбе в Канавине, что позабыли явиться в часть на работу. Когда Дубина пришел в нашу мастерскую, там находился лишь один я.

— Политотдел приказал всем батальонам произвести митинги, — сообщил мне замполит. — Надо объявить про нового героя Александра Матросова и подготовить выступления рядового и сержантского состава, а также прислана резолюция, которую будем принимать. Художникам тоже дадено задание — поспеть нарисовать к митингу портрет героя по газете.

И он дал мне свежий номер "Комсомольской правды" с Указом за подписью Калинина о присвоении звания Героя Советского Союза рядовому Александру Матросову, закрывшему своей грудью амбразуру вражеского ДЗОТа и геройски погибшему.

В газете была напечатана очень плохая фотография-трудно было разобрать черты лица — и рисунок какого-то известного художника, изображающий момент подвига, когда герой бросается на амбразуру, — небольшое окошко на уровне груди, откуда торчит рыло немецкого пулемета.

После скандала на Переведеновке я избегал заниматься рисованием. В артели я был в амплуа шрифтовика и маль-

чика на побегушках, а так же подсобника — мыл кисти и разбавлял краски.

Я объяснил Дубине, что для портрета у меня не хватит таланта, я специалист только по лозунгам. До митинга оставалось два часа, а богомазы не являлись. Обстановка накалялась.

— Я с этими бля...ми чикаться не буду! Хватит, лопнуло мое терпение, — орал замполит. — Одни только неприятности из-за них: по наглядной агитации на последнем месте в полку. Все краски пооблезли, не разберешь ни х... Политуру только жрать могут. Всех в маршевую загоню!

— И меня? — с надеждой спросил я разбушевавшегося Дубину.

Замполит уставился на меня ошалело.

— Х... с тобой! Ежели потрет будет к сроку — и тебя отправлю! — пообещал он.

Должен сказать, что подвиг Александра Матросова меня потряс — ведь он осуществил то, что было моей тайной мечтой. Я взял кисть и на большом листе загрунтованной фанеры, приготовленном Хряковым для очередного Ильича, нарисовал черной краской портрет Матросова. Я даже не глядел на тусклую фотографию в газете. Нарисовал героя таким, каким себе представлял.

Мой портрет понравился всем, и прямо на митинге замполит от лица командования объявил мне благодарность, после чего раздались громкие аплодисменты в мою честь.

Я не знаю, что со мной произошло, не могу этого объяснить. Хотя меня Дубина не назначил выступать, я вышел и произнес речь. Первый и, кажется, последний раз в своей жизни.

Я даже не помню, что я говорил, но смысл моего выступления свелся к следующему: вместо того, чтобы целыми днями бороться со вшивостью и ловить придурков, надо бросить все силы на украшение новой, прямой, как стрела, дороги, по которой маршевые роты будут уходить на фронт. По одну сторону надо установить громадную звезду героя Советского Союза, по другую — орден Ленина, а в самом начале — огром-

ный щит с изображением бессмертного подвига Александра Матросова... Дорогу я предложил назвать "Алеей героев имени Александра Матросова".

Это был триумф.

— Ларский, ты что, сам допер? — не раз потом у меня допытывался Дубина, который и в Москве-то ни разу не был и даже не слышал о Дворце Советов и о гигантском Ленине, с пальца которого должны были взлетать сталинские соколы. Правда, он мне рассказывал, что и у них в райцентре поставили довольно большой памятник Ленину с протянутой рукой, но после того, как на этой руке повесился какой-то алкаш, вместо Ленина поставили Сталина с рукой на груди.

Более внушительных монументов ему не довелось видеть. Мои масштабы его просто огорошили: я предложил орден Ленина и золотую звезду сделать высотой в пятьдесят метров!

Возможно, во мне заговорила кровь далеких предков, строивших пирамиды в древнем Египте. Но об этом замполит Дубина знать, конечно, не мог. Правда, комбат распорядился снизить высоту монументов с пятидесяти до десяти метров:

— Если эти херовины попададут на маршевое пополнение, кто будет отвечать? — резонно спросил он.

С учетом этого замечания мой план за подписями командования батальона был послан в полк и получил у начальства самую горячую поддержку.

Командованию батальона была объявлена благодарность за ценный почин, а другим батальонам было приказано брать с нас пример и тоже построить "Аллею героев".

Так в один миг из безвестного придурка при клубе я сделался выдающейся личностью батальонного масштаба.

Мне, как автору плана, командование поручило руководить созданием "Аллеи героев". Комсомольская организация батальона взяла шефство над стройкой. В помощь мне был придан целый штаб во главе с комсоргом батальона. Половина придурков была освобождена от будничных работ и передана в мое распоряжение. Кроме того, нам придали 2-ю стрел-

ковую роту, саперный взвод, бригаду плотников и столяров, артель богомазов и даже настоящего художника Гайдара, окончившего в Москве ВХУТЕМАС. Он-то должен был возглавлять создание гигантского панно, изображавшего подвиг Матросова.

Надо отдать должное командованию, которое отнеслось к созданию "Аллеи героев", как к боевому заданию. Многие операции, в которых мне впоследствии пришлось участвовать на фронте, не планировались с такой тщательностью. По приказу начальника инженерной службы полка для расчистки просеки был применен подрывной способ. Подготовка к операции заняла около десяти дней, каждые два часа в штабе батальона раздавался телефонный звонок — сверху запрашивали о выполнении графика. В связи с предстоящими взрывными работами в городской газете "Горьковская правда", а также по радио было объявлено о возможных взрывах в Марьиной Роще, население призывалось сохранять спокойствие (на Горький уже совершались налеты немецкой авиации). Разумеется, о целях взрыва не сообщалось, — как и любая военная операция, создание "Аллеи героев" было засекречено.

Я командовал операцией, в которой участвовало больше солдат, чем было во всем нашем 323-ем Гвардейском Краснознаменном ордена Богдана Хмельницкого горно-стрелковом полку, с которым мне довелось пройти от Северного Кавказа до границ Германии.

Так я встретился со вторым, после Всеволода Ивановича Чекризова, человеком, сыгравшим решающую роль в моей судьбе. Им оказался рядовой Александр Матросов, благодаря которому я возглавил крупную военно-политическую операцию, а затем, несмотря на белый билет, угодил в гущу войны. Замполит тянул с выполнением своего обещания, хитрил, мол, было сказано, что пошлю вместе с богомазами, а они остались, значит, и ты вместе с ними. Богомазы же прониклись ко мне горячей любовью.

Судя по реакции Дубины на их загул в Канавине, они бы наверняка загремели на фронт, если бы не моя "Аллея героев".

Дубина сработал, как мина замедленного действия, и неожиданно вспомнил о своем обещании в тот момент, когда у меня был в разгаре мой первый роман со студенткой Любой из Горьковского мединститута. Я еще не успел разобраться в своих чувствах, зато отлично почувствовал, что связной, посланный за мной в середине ночи Дубиной, прибыл совсем некстати.

Больше всех спросонок переполошились богомазы, но, разобравшись, что приказ их не касается, они от всего сердца принялись мне помогать снаряжаться.

Когда я запыхавшись прибежал в штаб, Дубина уже нервничал — очередной маршевый эшелон вот-вот должен был отправиться со станции Горький-Товарная, а комсорг, лейтенант Зимин, в последний момент отправлен в госпиталь с острым приступом аппендицита.

— Боец Ларский, — обратился ко мне замполит, — учитывая ваше желание и политическую сознательность, а также руководящий опыт при создании "Аллеи героев", командование направляет вас комсоргом эшелона.

... В кузове мы тряслись вдвоем с каким-то незнакомым лейтенантом. Я долго не мог прийти в себя, все происшедшее казалось мне сном. И вдруг до меня дошел весь трагизм ситуации: а ведь я даже не комсомолец, а Дубина послал меня комсоргом. И я струхнул не на шутку.

Комсорг, это тебе не парикмахер или художник, за такой обман по головке не погладят... Надо бы рассказать начальнику эшелона? Но не сразу, а когда отъедем от Горького, чтобы не отправили назад — решил я и уж, было, чуть-чуть успокоился, как заговорил незнакомый лейтенант.

— Я оперуполномоченный особого отдела, фамилия моя, допустим, Лихин. О тебе, товарищ новый комсорг, мне уже все известно, все твои данные. Работать будем вместе.

Лейтенант заговорил о каких-то донесениях, которые я должен буду тайно подавать ему на больших стоянках, что я также должен буду передавать ему донесения от других лиц из разных теплушек, в которых мне придется бывать под видом проведения комсомольских мероприятий.

Вначале я вообще не понял, о чем речь, но интуиция мне подсказала, что я влип в такую историю, из которой не просто будет выбраться.

### КОМСОРГ-"ОПЕРАТИВНИК"

Что такое маршевый эшелон? Маршевый эшелон, на первый взгляд, — это очень длинный товарный поезд, состоящий из теплушек (на которых написано "сорок человек или восемь лошадей") одного пассажирского вагона и, естественно, паровоза, который везет весь состав на фронт.

В каждой теплушке, в этом случае вместо восьми лошадей едут сорок солдат. Солдаты знают, что их рано или поздно привезут на фронт, но не знают, на какой — это военная тайна. Не знают они также и ответа на роковой вопрос: куда именно они попадут — в "наркомзем" или в "наркомздрав". Поскольку этот гамлетовский вопрос гложет их души на всем пути на фронт, они, на всякий случай, торопясь урвать от жизни все, что может сгодиться на пропой. Кроме казенного имущества терять им нечего. Иные даже решают отправиться в "наркомздрав" прямо из эшелона, минуя фронт, то есть выбрать из двух зол меньшее, пока не поздно.

В пассажирском вагоне едет бригада сопровождающих офицеров. Это, так сказать, офицеры-экспедиторы, в функцию которых входит доставка готовой продукции из "Горьковского мясокомбината" на место назначения. Они отвечают за сохранность груза, то есть за то, чтобы пушечное мясо в дороге не "протухло", а главное, чтобы не было усушки и утруски. Они обязаны сдать груз заказчику в соответствии с накладными.

Но офицеров-экспедиторов, как и солдат, тоже гложет неизвестность. Они не знают: вернутся ли они обратно в запасной полк за новой партией, или пойдут под Военный трибунал, если не довезут груз до места. Поэтому они и пьют без просыпа всю дорогу, а потом пьют на радостях вместе с "покупателями", если все кончается благополучно — обмывают приемо-сдаточный акт.



Не дремлет лишь оперуполномоченный особого отдела, имеющий в каждой теплушке несколько пар глаз и ушей.

Чтобы дезориентировать противника, маршевый эшелон длительное время совершает сложные железнодорожные маневры: меняет направление движения, делает виражи и петли и только после того, как он окончательно собьет вражескую агентуру с толку, начальник эшелона вскрывает секретный пакет, где указано точное место назначения.

В отличие от обычного товарного состава, путь которого измеряется количеством пройденных километров, движение маршевого эшелона измеряется количеством совершающихся в пути ЧП (чрезвычайных происшествий). Чем больше ЧП, тем больше у сопровождающих шансов загреметь в офицерский штрафбат.

— Хорошо тебе, комсорг! — бывало говорил мне в минуты отрезвления мой шеф, парторг эшелона, лейтенант Мухин. — Твое дело телячье: обосрался и на бок. Какой с тебя спрос? Тебе и терять-то нечего...

Можно было понять лейтенанта Мухина и прочее сопровождающее эшелоны начальство.

Что ни день, на их головы валились все новые ЧП, одно страшней другого. По мере продвижения к фронту людские потери росли не только за счет отстававших от эшелона.

Однажды весь наш эшелон чуть было не был уничтожен из-за массового отравления клещевойной. На какой-то станции маршевики обнаружили платформу с этими зернами, из которых производят касторовое масло, применяемое в медицине в качестве сильнодействующего слабительного средства. Клещевину разворовали и стали тайком варить в теплушках, а она в неочищенном виде оказалась ядовитой.

В результате сорок человек (что эквивалентно восьми лошадям) было в Армавире отправлено в госпиталь в тяжелом состоянии, пятеро из них погибли. Прочие отделались сильным расстройством желудка и еще несколько дней за нашим эшелонам тащился по железнодорожному полотну след "медвежьей болезни".



После следующего ЧП наш маршевый эшелон из пополнения для передовой едва не превратился в пополнение для венерического госпиталя.

Недремлющие глаза донесли оперуполномоченному, что на теплушечные нары "просочились неизвестные б...ди", которых маршевики укрывают от глаз начальства. Была объявлена боевая тревога, как при воздушном налете. По сигналу "Воздух!" эшелон остановился в открытом поле, и весь личный состав повыскакивал из теплушек. При помощи таких чрезвычайных мер подпольные пассажирки были выявлены и заключены под стражу. К ужасу начальства, ни у одной не оказалось справки о прохождении медицинского осмотра! Возможно, лишь потому, что сдача маршевого пополнения была оформлена сразу же после этого ЧП (когда его последствия еще не успели выявиться), сопровождающая бригада не была отдана под трибунал.

Я уж не упоминаю здесь о целом ряде мелких ЧП, наподобие произошедшего в Сталинграде. Там несколько наших маршевиков, вооружившись железными ломками, пристукнули трех солдат-часовых, охранявших вагоны с продовольствием. Они почти уж было очистили эти вагоны, но Лихину, на этот раз с моей помощью (о чем еще пойдет речь дальше), удалось настигнуть грабителей на месте преступления.

С обмундированием тоже вышло ЧП.

Эшелон наш отбыл с "Горьковского мясокомбината" в конце весны. Как я уже писал, спустя полтора месяца, летом 1943 года, маршевое пополнение было доставлено на юг, в район Кавказа. Но, видимо, в целях дезориентации противника маршевикам было выдано зимнее обмундирование, будто они следуют на север в Заполярье, где стоит сорокаградусный мороз. Все были одеты в валенки, ватники, рукавицы, теплое белье и вязаные подшлемники. А прибыли мы на Кубань в тридцатиградусную жару. Зимнее обмундирование по пути пропили, за ненадобностью: было ясно, что по прибытии на место все равно переобмундируют в летнее.

После выгрузки из эшелона наше маршевое пополнение по внешнему виду смахивало на легендарных чапаевских бойцов

(из кинофильма братьев Васильевых), застигнутых врасплох белогвардейцами. Некоторые пропились до исподнего белья, на других оставались лишь стеганные ватные портки...

Во всех бесчисленных ЧП особенно отличились "мои" комсомольцы, которые, как им и положено, всегда были впереди. И я, их новый комсорг, оказался тоже не на высоте — отстал от эшелона и нагнал его лишь в Сталинграде, вернее, он меня нагнал, потому что я оказался там раньше. Только большой опыт по части отставаний от эшелонов и поездов, приобретенный мной при эвакуации, помог мне не потеряться.

Я отстал из-за Лихина, который после нашего с ним разговора в машине из лейтенанта почему-то превратился в младшего сержанта. Я его, конечно, узнал, но, на всякий случай, сделал вид, будто не узнаю.

Между прочим, я оказался между двух огней. В теплушке, где я ехал, мне сразу же заявили: "Эй, комсорг, если кого-нибудь заложишь — пойдешь под колеса, понял?!" Я прекрасно помнил, как на нашем дворе, в Новых домах, "огольцы" обходились с "лягавыми".

Но и Лихин не думал отступать. Однажды он меня прижучил на остановке в станционной уборной и потребовал объяснения:

— Комсорг, ты что это в прятки играешь? Почему не работаешь? — спросил он.

Я пробормотал что-то, мол, замотался с комсомольцами, нету времени.

— На следующей станции, чтобы ждал меня за водокачкой. Придется потолковать, — сказал он.

На следующей стоянке оказалась не одна водокачка, а целых две, причем не рядом, а в разных концах. А Лихин мне не сказал, у какой водокачки его ждать. Я долго стоял у одной водокачки, потом решил пойти к другой — может быть, он там?

А эшелон тем временем уехал.

Я подумал, что Лихин мне нарочно приказал ждать, чтобы отомстить. Отставание от эшелона приравнилось к дезер-

тирству, так что я мог бы здорово поплатиться, если бы меня зацапал комендантский патруль.

Что было делать? Я пошел в железнодорожную комендатуру на станции и рассказал, по какой причине отстал — разминулся с опером. Меня не арестовали, а выдали путевой лист до Вологды и продаттестат, чтобы я своим ходом догонял эшелон. Уже в Вологде путевой лист переписали на Сталинград.

Когда Лихин меня увидел, его лисья физиономия удивленно перекосилась, по-видимому, он уже занес меня в список дезертиров. Что же касается невыполненных комсомольских мероприятий, то здесь обошлось благополучно, мое двухнедельное отсутствие комсомольцами вообще не было замечено.

И все-таки на Лихина поработать мне пришлось. В Сталинграде я передал ему тайком свое первое донесение, которое, правда, не было связано с политикой. Произошло это так. Один из моих соседей по нарам предложил пойти с ним прогуляться "подышать воздухом", как сказал он. Мы с ним стали ходить по путям рядом с эшелонном, он мне с упоением заливал всякие истории. Потом вдруг попросил меня постоять, подождать его пару минут и нырнул под вагон на другую сторону состава. А вместо него вынырнул ко мне какой-то солдат и шепнул: "Комсорг, я знаю, что ты оперативник... наши пришили троих солдат, вагон взломали!" И тут же скрылся под теплушкой.

Я стоял в полном замешательстве. Тут сосед опять появился со своими историями, взял меня под руку и повел подальше от эшелона к продпункту. И только сейчас я сообразил, что он специально мне вкручивал шарики, как человеку Лихина. И тут я увидел оперативника собственной персоной. Он крутился возле продпункта в форме младшего сержанта, я решил сообщить ему об услышанном. Отлучился в уборную и там написал записку. Проходя мимо Лихина, я незаметно ее сунул ему в карман.

Я выполнил свой гражданский долг и от ужаса не находил себе места. Завидев Лихина, я сразу же нырнул под вагон, опасаясь, что он начнет приставать со своим сакраментальным вопросом: "Почему не работаешь?"

Но, видимо, после случая с водокачкой Лихин понял, что с таким придурком, как я, каши не сварить, а мое донесение насчет грабежа он вообще не считал за работу. (Я уверен, что другая сторона, считавшая меня "оперативником", придерживалась противоположной точки зрения и узнай, кто донес Лихину, оценила бы по достоинству мой гражданский порыв.)

Половину нашей теплушки составляли отпетые рецидивисты. Я попросился в нее, потому что встретил там знакомых придурков — сапожника Ваську и портного Сашку, долго кантовавшихся в нашем батальоне. В своей компании ехать было как-то веселее. Вместе мы держались и прибыв на фронт. Оказались в одной стрелковой роте и в одном взводе. Но каково же было мое изумление, когда портной Сашка, как по волшебству, мгновенно перевоплотился из известного всей части придурка в гвардии старшину Куца и помощника командира взвода, а другой придурок, сапожник Васька — в сержанта Сидоренко, моего непосредственного начальника, командира нашего отделения! Солдатские погоны они снимали и достали из вещмешков старые, соответствующие их фронтовым званиям. Вот тогда-то я впервые уразумел, о чем писал уже выше, отчего придурки в нашем запасном полку так и не были пойманы ни одной комиссией.

Что касается оперуполномоченного, называвшегося Лихиным, то после ЧП с грабителями мне ему донесений передавать не пришлось, и я с ним расстался, так и не выяснив: у какой же водокачки он мне назначил свидание.

...Между прочим, этот вопрос я ему задал спустя четверть века, когда встретил его в Коктебеле возле Дома творчества Союза советских писателей.

Я сразу его узнал — благо, он не особо изменился, только немного оплешивел. Был он без сержантских погон, в гражданской тенниске и шортиках, однако, судя по всему, работа у него была прежняя. Он околачивался на набережной среди писательской братии, подсаживался к инженерам человеческих душ то на одну скамеечку, то на другую и делал вид, будто занят чтением газеты.

Из великих писателей в Доме творчества пребывал Борис Полевой с супругой, к которому Лихин, не ясно почему, проявлял особый интерес. Меня так и подмывало ему сказать: "Товарищ Лихин, зря теряете время — это ж наш человек".

Как-то я его встретил возле дачи, которую мы обычно снимали. И вот решил ему представиться.

— Моя фамилия Ларский, — сказал я. — Мы с вами ехали в одном эшелоне из Горького в 1943 году. Помните ЧП в Сталинграде? А еще помните, вы встречу мне назначили у водокачки, но почему-то не пришли?

— Нет, не припоминаю — ответил он. — Много их было-то эшелонов и ЧП.

Между прочим, он сообщил, что вместе с товарищем по работе снимает койку в Доме Волошина. Почему именно в Доме Волошина, я так и не понял: то ли это место казалось ему наиболее подходящим для дислокации своей опергруппы, то ли решил слегка подмучивать на суточных — ведь оперативник тоже человек, и ничто человеческое ему не чуждо.

### **ОРДЕНА-МЕДАЛИ НАМ СТРАНА ВРУЧИЛА...**

До конца жизни не забуду ночную панораму Керченского плацдарма, которая открылась передо мной, куда наше маршевое пополнение прибыло к месту переправы. Это было что-то грандиозное, сравнимое, быть может, с извержением Везувия в последний день Помпеи. У меня дух захватывало. Судя по всему, приближался мой звездный час.

Было приказано не курить, чтобы не выдать противнику нашего месторасположения. Погрузка на катера происходила в напряженной обстановке, в страшной спешке. Я ночью плохо видел, а тут еще вспышки меня ослепляли, но я крепко держался за своих друзей Ваську и Сашку, чтобы не потерять.

И вот, наконец, катера двинулись к крымским берегам, туда, где гремел страшный бой. Однако, в эту ночь нас в бой не бросили. Нас водили по каким-то оврагам и склонам, строили, перекликались по фамилиям. Видимо, происходил

заключительный этап сдачи маршевого пополнения. Роту, в которой находились мы с Васькой и Сашкой, построили на открытом ветру бугре, где нас уже ждали "покупатели". Они ходили в темноте вдоль строя и кричали:

— Саратовские есть?

— Тамбовские есть?

— Рязанские есть?

— Курские есть?

Каждый командир роты искал своих. Сашка был из Днепропетровска, Васька — сумской, я — москвич, но таких не выкликнули.

Не знаю, почему Сашка закричал: "Есть курские!"

— Сколько вас? — спросили из темноты.

— Трое! — ответил Сашка.

Итак, вместе с Сашкой и Васькой я был зачислен в "курские". Мы пролезли в какую-то дырку и втиснулись в груды спящих прямо на земле тел.

Утром проснувшись, я, ожидавший чего-то сверхгероического, был страшно разочарован: вместо захватывающей дух феерической картины я увидел унылые холмы без единого деревца и непролазную грязь, в которой копошились перемазанные с ног до головы люди.

Я был готов к великим подвигам, но отнюдь не к тому, что увидел, то есть серым, унылым, как станет ясно, будням, именно из-за этого я снова оказался в придурках, но на этот раз уже не в тылу, а на фронте.

Пусть простит меня читатель за небольшое отступление от сюжетной линии, но я снова хотел бы затронуть вопрос о месте и роли придурков в Советской армии. По наивности в свою бытность клубным богомазом я полагал, что последние существуют только в тылу, а на фронте кантоваться не могут. Поэтому они и стараются всеми правдами и неправдами в запасных частях окопаться, и комиссии за ними охотятся именно для того, чтобы бросить их в бой.

В моем представлении, на фронте почти все поголовно должны были бы сражаться в бою, на передовой. Однако на своем немалом опыте я убедился, что придурков на фронте

оказалось еще больше, чем в запасном полку, да и почетом они пользовались куда большим, чем тыловая бражка.

Читатель может положиться на мой опыт. На фронте мне пришлось спускаться и подниматься по многим ступеням "придурочной иерархии". Достаточно перечислить мой послужной список, чтобы в этом убедиться. Прежде чем стать ротным придурком в саперах, я побывал в придурках при обозе и при похоронно-трофейной команде. Затем я некоторое время был штабным придурком, поднялся до штаба корпуса и, возможно, пошел бы еще выше, если бы не обнаружилось, что у меня нет допуска к секретной работе. Я опять спустился до ротного уровня, был писарем в стрелковой роте. А в самом конце войны, по воле судьбы, я (к счастью, ненадолго) оказался придурком, исполняющим обязанности советского коменданта города Тржинца.

К этому я должен добавить, что иногда — хоть это и случилось не по моей воле — я, по совместительству, состоял в придурках при оперуполномоченном особого отдела, а также при комсомольском бюро.

Во фронтовом лексиконе термин "придурок" употребляется еще в одном значении. У ротных и батальонных писарей и в строевых отделах штабов, ведающих учетом, этим термином обозначаются лица (а также и конский состав), не состоящие на довольствии в подразделениях, где они числятся по спискам\*.

Именно эта многочисленная категория всевозможных "откомандированных" и "прикомандированных" и составляла цвет, элиту всей придурочной братии из числа рядового и сержантского состава.

В ее рядах состояли даже целые коллективы, к примеру, дивизионный ансамбль песни и пляски, заштатные писари в штабах и службах, дополнительные счетные работники и весовщики, политотдельские художники, фотографы, внештатные корреспонденты и корректоры дивизионной многотиражки, целая гвардия неположенных вестовых, коноводов,

\* В обиходном же смысле придурками величали вообще нестроевиков, в том числе и самих писарей, состоявших на довольствии в своих подразделениях.

личных парикмахеров, сапожников, поваров и портных. И это еще не считая фронтовых подруг, состоявших при начальстве. Но пусть читатель не сделает поспешный вывод: мол, вся эта братия холуев и захребетников заботилась лишь о спасении своих шкур, в то время как на передовой гибли в боях солдаты, отдававшие свои жизни за родину и лично за товарища Сталина. "Для кого война, а для кого — хреновина одна..." — говорили на фронте. — Почему эту братию, получившую лучшие куски из солдатского котла, разбавлявшую солдатскую водку и за этот счет выкраивавшую себе по поллитра не разбавленной — вместо положенных 100 грамм! — не бросали в бой, наряду со всеми? — спросит читатель.

Дорогой читатель, институт придурков в Советской армии, конечно, порождал некоторые отрицательные явления, в первую очередь, воровство, хищения казенного имущества, пьянство, но его роль не исчерпывалась лишь негативными моментами. В том и состоял парадокс, что именно придурки в боевой части образовывали ее ядро, ее костяк, без которого воинская часть была бы не в силах восстановить свою боеспособность после понесенных потерь. А потери в боях доходили до 80—90 процентов от численности личного состава.

Скажи мне, читатель, кто имел больше шансов уцелеть в жестоких боях: пулеметчик или парикмахер, автоматчик или сапожник, стрелок или столяр? Я думаю, что теперь ты сам догадаешься, из кого формировались ряды ветеранов, являвшихся, наряду с боевым знаменем, необходимым атрибутом воинской части.

Ветераны, прошедшие большой боевой путь, являлись хранителями славных традиций воинской чести, живыми памятниками истории. Спору нет, имелись среди ветеранов и бывшие вояки, в свое время отличившиеся в боях, а затем сменившие строй на тепленькие места подальше от передовой. Портреты их продолжали появляться на страницах дивизионной многотиражки, где рассказывалось об их подвигах, в назидание новичкам. Но сами герои давным-давно успели сменить автоматы на чернильницы, поварешки или сапожный инструмент, либо пристроиться в ординарцы к начальству.

К сожалению, я не силен в философии, а Карл Маркс, друг моего детства, который на фронте от меня отвернулся и однажды едва не подвел под пулю, в своей бессмертной и всеобъемлющей теории обошел вопрос о придурках. Я полагаю, что если Его Теорию применить творчески, то придурков можно определить, как базис, на котором стоит вся армейская надстройка. В подтверждение этого вывода приведу такой эпизод. Когда наша 128-ая Гвардейская Туркестанская Краснознаменная горно-стрелковая дивизия была перебросена из Крыма на Четвертый Украинский фронт, к нам прибыл со своей свитой сам командующий фронтом генерал армии Петров. Это был прославленный военачальник, герой обороны Одессы и Севастополя.

На торжественном построении всех частей генерал Петров приказал представить ему старейших ветеранов, проходивших в дивизии кадровую службу. Таких старослужащих ветеранов во всей нашей 128-ой дивизии сохранилось лишь десятка полтора, однако, в строю не оказалось ни одного. Произошло небольшое замешательство среди начальства, но, слава Богу, все обошлось. С небольшим опозданием герои-ветераны прибежали из тылов и были представлены командующему, который лично вручил каждому самые высокие награды — ордена Боевого Красного Знамени или Отечественной войны 1-ой степени. В нашем полку были награждены следующие заслуженные ветераны: старшина-хозяйственник комендантского взвода Горохов, коновод замполита Джафаров и повар Колька Шумилин.

### САГА О КОЛЕСЕ

Но вернусь к злоключениям, с которых пошла у меня по прибытии на фронт целая полоса неудач. Начались они с моей встречи с капитаном Котиным, о чем я уже рассказывал в первой части. За продолжительное отсутствие в роте я получил тогда три наряда вне очереди в караул.

Вначале меня послали вместе со стрелковым отделением в боевое охранение на самый берег моря. Там находился соо-

руженный немцами блиндаж, где мне установили ручной пулемет. Дежурили по двое, остальные спали. Место было совершенно безлюдное. Лишь изредка по берегу моря проходил раненый с передовой или препровождали немца, только что взятого в плен.

Когда нас направили в наряд, начальник полкового караула сказал, что мы будем держать самый южный фланг советско-германского фронта, поэтому наше задание очень ответственное. Погода стояла очень хорошая и я, отдежуривав свою смену, решил умыться морской водой. Снял шинель и разделся до пояса, сложив обмундирование на пляже. Сверху я положил свои очки, которые берег пуще глаз, и накрыл их ушанкой. Затем я по торчащим из воды камням отошел в море на несколько метров, умылся до пояса и вернулся. Обмундирование лежало на месте, но моей комсоставской ушанки с настоящей красной звездочкой не оказалось. А самое страшное — не оказалось очков!

Конечно, я поднял на ноги весь караул, все искали мои очки и ушанку, но окончилось безрезультатно.

Мне говорили: "Сам виноват, какой дурак оставляет свое обмундирование и уходит?" Но ведь кругом же не было ни души!

Конечно, если бы кто-то был, я бы так обмундирование не оставил, еще на Переведеновке я узнал: "Все, что плохо лежит — убежит". Такой в армии закон.

Ребята вспомнили, что проходил какой-то тяжелораненый, когда я раздевался. Нижняя челюсть у него была начисто оторвана, язык телепался на груди... Неужели в таком состоянии человек может красть?! Ну взял бы ушанку — да зачем она ему, он, может, и жив-то не останется. А очки-то ему вовсе ни к чему... Нет, на этого тяжелораненого я не мог грешить.

Потеря очков совершенно меня убила. Впоследствии я получил контузию, затем был ранен в живот, к счастью, не тяжело. Но этот удар для меня был намного болезненней, он надолго вывел меня из строя. Какой я был солдат без очков? Я же ничего не видел, а ночью вообще был слепым на 100 процентов!



Командир взвода этого понять не мог.

— Раз тебя прислали на передовую, значит, видишь,— сказал он. — Слепых сюда не присылают.

И тут же отправил меня в следующий наряд. По уставу я сначала должен был выполнить его приказание, а потом мог жаловаться.

Вместо моей комсоставской ушанки с красной звездочкой с серпом и молотом старшина дал мне сплюснутый блин, пропахший лошадиным потом, — видимо, он служил для подкладки под подпругу, чтобы у лошади не было потертостей. Звездочку он тоже мне выдал — жестяную, вырезанную кое-как из банки от американской тушенки. На ней вместо серпа и молота оказались буквы "MADE IN USA". Для солдата потерять шапку — самое позорное дело, вот меня старшина и наказал.

Второй наряд был у склада боеприпасов. На инструктаже караула нам сообщили пароль. Было приказано стрелять по любому, кто на пароль не отвечает, даже если это будет сам командир полка. Я сказал начальнику караула, что на посту стоять не могу. Днем я могу увидеть приближающегося человека, а ночью нет.

Карнач распорядился поставить меня на пост днем, а к ночи сменить. Склад помещался в землянке, на дне глубокого оврага, выходящего к морю. Это был старый склад, с которого еще не успели все вывезти на другое место. Кроме меня, там никого не было. Как только стало смеркаться, в овраге сразу стемнело, и я ничего не видел. По моим расчетам, мое время давно уже истекло, а смена все не приходила.

Я стоял на посту, как слепой. На всякий случай я кричал через каждые несколько минут: "Стой, кто идет?!" Но в овраге не было ни души. Наверно, разводящий про меня просто позабыл, а самовольно я не имел права уйти с поста. Тогда я решил еще немного подождать и, если смена не придет, дать сигнал тревоги — выстрелить из винтовки три раза. Я стал считать до тысячи и только досчитал до семисот, как вдруг винтовка сама рванулась из моих рук, а я от неожиданности упал и сильно ударился о камни. Кто-то выстрелил три

раза, затем послышался сильный топот — это прибежал по тревоге караул с разводящим.

Обезоружил меня сам дежурный по полку, который решил обойти караул. Он спустился в овраг, когда я уже перестал кричать и считал. Не услышав окрика, он решил, что часовой уснул и стал ко мне подкрадываться. Он подошел ко мне вплотную, а я его не видел. Дежурный по полку был в полной уверенности, что я на посту спал и приказал меня арестовать и доставить в штаб. Это было ЧП! За сон на посту полагался трибунал.

При разбирательстве карнач и разводящий, видимо, перепугавшись, что им может тоже влететь, отрицали, что я их предупреждал и просил ночью меня на пост не ставить.

Но мой взводный подтвердил пропажу у меня очков, хотя тоже считал меня симулянтом.

Потом меня допрашивал сам командир полка. В тот момент эту должность занимал подполковник Кузнецов, видимо, человек он был не злой. Мне пришлось ему рассказать всю свою историю, как я попал из запасного полка на фронт.

Подполковник ужасно ругал этих "тыловых крыс", как он выразился. Присылают на фронт "всяких придурков", с которыми только одна морока.

Под трибунал меня решили не отдавать, но не знали, что со мной теперь делать и куда пристроить. Наконец, определили дневальным в офицерскую землянку, где ночевали помощники начальника штаба.

Им не полагалось ординарцев. Я должен был приносить им еду с офицерской кухни и караулить их вещи. В землянке была печурка и немного дров, в мои обязанности входило ее топить под вечер и греть офицерский чай.

Когда дрова кончились, я отправился на поиски топлива, но так его и не раздобыл. Нигде не валялось ни одной щепки или чего-нибудь мало-мальски годного на растопку.

На Керченском плацдарме даже старый бурьян весь истопили, земля была голой, будто саранча все объела. Топку для полковых кухонь специально привозили с другой стороны из Темрюка.

Вечером офицеры устроили мне скандал за то, что я со своими обязанностями не справился.

— Раз тебя поставили дневальным, ты обязан печку топить. Какой же ты солдат, если дров не сумел раздобыть! — заявил мне помощник начальника штаба по разведке.

Он вывел меня из землянки и сказал, указывая куда-то в темноту: "Возле землянки командира полка стоит брочка. Ползи туда по-пластунски, чтобы часовой не заметил. Вынешь чеку из задней оси и снимай большое колесо, только потихому. И обратно его таким же макаром приволоки, мы его в землянке разобьем, на два раза хватит подтопиться".

Я ответил ему: "Товарищ капитан, я в темноте ничего не вижу, и вообще я воровать отказываюсь. Как командир полка будет ездить без колеса?"

— Командир полка и без твоих забот проживет, а ты о нас должен позаботиться, на х.ра ты нам тогда нужен?! — сказал в сердцах помощник начальника штаба по разведке и сам нырнул в темноту. Примерно через час он вернулся, таща колесо.

— Совести у тебя солдатской нет! — зло пробурчал капитан, — по твоей милости, я, офицер, как свинья, должен был в грязи валяться. Раз ты такой честный, тебе греться на ворванном тепле не положено. И вообще, катись-ка ты лучше от нас к е.....матери! Без тебя обойдемся...

После того, как офицеры меня прогнали, я был переведен в полковой обоз.

*(Продолжение в следующем номере).*

Виктор ПЕРЕЛЬМАН  
"ПОКИНУТАЯ РОССИЯ"

АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ  
В ДВУХ КНИГАХ

"ИЛЛЮЗИИ" и "КРУШЕНИЕ"

Автор — журналист и писатель, в прошлом корреспондент Московского Радио, фельетонист газеты "Труд", заведующий отделом и специальный корреспондент "Литературной газеты" — рассказывает о своем жизненном пути в Советском Союзе, о преодолении им коммунистической идеологии, о нравах, царящих в советской журналистике и литературе.

Автобиографическое повествование "Покинутая Россия" удостоено второй премии Иерусалимского Университета.

Стоимость каждой из двух книг в Израиле: в магазине — 36 лир, при одновременной покупке первой и второй книги — 68 лир. При заказе в редакции, соответственно — 29 лир и 56 лир.

Стоимость каждой из двух книг за границей — 3 доллара, при одновременной покупке сразу двух книг — 6 долларов.

Заказы принимаются по адресу: Улица Нахмани, 62, Тель-Авив, издательство "Время и мы". К заказу должен быть приложен чек и в нем указан адрес, по которому высылать книгу.

Об этом событии никогда не упоминалось в советских газетах. О нем почти ничего неизвестно на Западе. Да и по сей день многие факты, проливающие свет на происшедшее в эту кровавую ночь в Тбилиси, остаются похороненными в архивах КГБ. Поэтому в своих воспоминаниях об этом событии Фаина Баазова не ставит целью проанализировать его истоки и причины, она лишь как очевидец пытается, по возможности, полно восстановить картину случившейся трагедии.



Фаина БААЗОВА

## ТАНКИ ПРОТИВ ДЕТЕЙ

КРОВАВАЯ НОЧЬ В ТБИЛИСИ. (Из воспоминаний очевидца)

Все началось очень просто. Утром 7 марта 1956 года, в третью годовщину смерти Сталина, группа ребят из Дворца пионеров положила у высокого монумента Сталина на набережной его имени два скромных венка из живых цветов.

Заметив у монумента цветы, дети окрестных улиц, направлявшиеся в школу, решили организовать сбор денег в своих классах и также купить цветы и положить у монумента. За час или два весть о том, что школьники младших классов несут к монументу Сталина цветы, облетела почти все школы центральных районов Тбилиси. И, примерно, к двенадцати часам дня на главных улицах города появились первые колонны учащихся, идущих с цветами на набережную имени Сталина. А к концу рабочего дня "цветочное шествие" приняло такой размах, что почти на всех улицах, выходящих на эту набережную, прекратилось движение транспорта.

С утра стояла редкая для Тбилиси этого времени безветренная, солнечная погода. На улицах была масса людей. Взрослые смотрели на странное шествие со смешанным чувством



удивления и восторга. И детьми, по-видимому, интуитивно чувствовавшими это одобрение, овладевал все больший энтузиазм.

К вечеру стало очевидным, что город вышел из своей обычной колеи. Ни на одном из рынков, как и ни в одном цветочном магазине, уже невозможно было достать цветов. Их стали теперь привозить с окраин Тбилиси, оттуда, вместе с цветами, стали прибывать и новые колонны учеников. Никто из взрослых и не пытался охладить этот порыв. Напротив, отцы и дети не скрывают своей гордости тем, что их дети и дети их близких друзей так самостоятельно проявляют горячую любовь к родине, отдавая должное величайшему сыну Грузии.

В ту ночь Тбилиси представлял собой удивительное зрелище. Народ вышел на улицы и, охваченный всеобщим психозом, аплодировал скандирующим "ваша Сталину" (ура Сталину) школьникам. По улицам ночного города над морем детских голов медленно плыли портреты вождя.

Вокруг высокого, утопающего в цветах монумента Сталина всю ночь продолжался доходящий до религиозного иступления карнавал. В парке и на площадях, прилегающих к монументу, наспех сооружались трибуны и сцены, сменяя друг друга, тут выступали участники детских ансамблей. Пели возносящие вождя песни и декламировали стихи, написанные грузинскими поэтами в честь Отца народов.

Большинство людей не помнило ничего подобного, чтобы без повеления сверху, без официального инструктажа и специальной организации происходили какие-то демонстрации или шествия.

Но наутро, 8 марта, когда все здания средних школ оказались пустыми, стало ясно, что события, происходящие в Тбилиси, были не только выражением детского восторга перед Сталиным.

Хотя прошло уже три года со дня его смерти, многие в Грузии, да и не только в Грузии, не могли постигнуть, как могло случиться, что к самому великому божееству на нашей планете осмелились отнестись, как к простому смертному.

На второй же день после смерти Сталина, называемого солнцем народов, его вынесли из Кремля, и гроб с его телом установили в Колонном зале Дома Союзов. Люди не принимали, как могли решиться на подобное кощунство. В Колонном зале, правда, происходили "прощания трудящихся" с выдающимися партийными и государственными деятелями. Кто же посмел приравнять к ним, обыкновенным смертным, Сталина. Не успев осмыслить случившегося, народ Грузии был поражен новым ударом: пришло сообщение из Кремля, что похороны вождя состоятся... через два дня, 7 марта, в понедельник.

Люди еще только готовили себя к длительному скорбному будущему, а уже ночью с 7 на 8 марта милиционеры стучали и звонили в двери жилых домов, требовали снять с балконов траурные флаги.

В Грузии одной из древнейших и своеобразных традиций было проявление почестей к покойнику. Плакание и прощание с ним длится несколько дней; в Западной Грузии — неделю. Покойного оплакивают и провожают не только близкие, не только друзья и знакомые, но и знакомые знакомых. Плакание традиционно строго регламентировано, оно всегда происходит в сопровождении изумительных народных песен. Одно из незыблемых правил этой традиции — запрет хоронить в понедельник.

...Многие в Грузии затаили глубокую обиду за своего "гениального соотечественника", который из отсталой России создал самую могущественную державу мира, а "кремлевские русские" поступили с ним так неслыханно дерзко. Его похоронили наспех, в понедельник, а теперь Хрущев пытается из божества сделать уголовного преступника!

Быть может, все это и послужило причиной того, что ни родители, ни педагоги, ни даже партийные и советские функционеры не остановили событий. Разве лишь пытались ему придать политически подобающий характер.

Утром, 8 марта, уже рядом с портретами Сталина появлялись портреты Ленина, и колонны теперь скандируют: "Ленин, Сталин!" Можно ли было возражать против такого проявle-

ния советского патриотизма? И как было усомниться в верности Москве? С каждым часом появляется все больше портретов Ленина, они — словно щит, ограждающий неприкосновенность величия Сталина.

8 марта многие вообще не вышли на работу, другие ушли с работы раньше. Люди были наэлектризованы, хотя кто отдавал себе отчет в том, что значили происходившие в городе шествия? Но никто не хочет сидеть дома. Энтузиазм всеобщий, с гордыми лицами шагают рядом со своими товарищами дети расстрелянных Сталиным родителей. Никто из них не смеет и подумать, что существует прямая связь сталинских деяний с трагедиями их семей.

В этот же день в Верховном суде Грузии у меня было назначено большое групповое дело. Как и многие адвокаты, я пришла очень рано в надежде еще раз поговорить с защитниками до начала процесса. Но привычный ритм работы Верховного суда был нарушен. Как выяснилось, заключенных сюда вообще не доставили, и судебные залы скоро опустели. Все спешили на улицу.

С группой товарищей я вышла из Верховного суда и спустилась на проспект Руставели. Тротуары были запружены людьми, и все труднее становилось их отделить от демонстрантов.

...Не помню точно, в какой именно момент, но в этот вечер я почувствовала какую-то безотчетную тревогу. Едва ощутившая вначале, эта тревога постепенно росла, и на лицах друзей стал появляться трудно скрываемый страх. Хотя, казалось бы, для тревоги не было решительно никаких оснований. Бдительные работники милиции, не имея специальных инструкций, спокойно и с сочувствием глядели на демонстрантов. А тревога росла, особенно когда стало ясно, что городом овладели демонстранты. Они заполнили улицы, регулировали движение транспорта, в некоторых случаях останавливали его.

Постепенно возникло ощущение, что где-то, непонятным образом, возник какой-то "штаб", который регулирует и направляет колонны в разные районы города.

К вечеру второго дня манифестации стало известно, что к школьникам примкнули также студенты университета и вузов. Десятки тысяч студентов вышли на улицы и влились в потоки демонстрантов.

Ночью 8 марта Тбилиси был похож на гигантское море, над волнами которого колыхались огромных размеров портреты Вождя народов. Перед его ликом, казалось, исчезло правительство, исчезла всякая власть на земле.

Я шла по ночному городу и не могла отделаться от преследующего меня желания: если бы была у меня такая возможность, немедленно, не дожидаясь утра, вывести все пожарные команды города и с их помощью разогнать демонстрантов. Залить водой, погасить это разбушевавшееся пламя, дабы избежать надвигающейся катастрофы.

Но в ту ночь желанные, быть может, многими машины пожарной команды в городе не появились.

9 марта все здания вузов, техникумов, профессиональных училищ, так же как и средних школ, оказались пустыми. Становилось очевидным, что манифестация меняет свой первоначальный характер и чьей-то невидимой рукой направляется в определенное русло.

Ранним утром 9 марта из-за происходящего в городе у меня сорвался еще один процесс — на этот раз в новом отдаленном от центра районе Сабуртело. Обрато я ехала в троллейбусе. Он медленно двигался среди колонн демонстрантов. Этот поток оказался головной колонной, которая, по указанию незримого "штаба", направлялась к зданию ЦК партии.

Выбранная делегация вошла в комендатуру и передала требование демонстрантов — вызвать Первого секретаря ЦК партии Василия Павловича Мжаванадзе.

И произошло чудо. Впервые за время советской власти в Грузии правитель, поставленный Москвой, вышел к демонстрантам по их требованию.

В тот период мавзолеем на Красной площади, где рядом с Лениным лежал Сталин, был закрыт. Циркулировали слухи о том, что Сталина умышленно так бальзамировали, что он сразу же почернел. Утверждали, что Мао-Цзе-Дун потребовал

выдачи праха Сталина, которого китайские специалисты способны были "оживить".

Теперь демонстранты решительно потребовали от Мжаванадзе поддержать усилия Мао по восстановлению праха и чести Сталина. Мжаванадзе долго и ласково разговаривал с демонстрантами. Обещал всячески поддержать их и свою речь закончил словами:

— Мы нашего дорогого Сталина в обиду никому не дадим!

Слова эти передавались из ряда в ряд, раздавались громкие одобрительные выкрики и оглушительные овации. Окрыленные заверением Первого секретаря ЦК, демонстранты направились через районы старого Тбилиси к Крцанисской улице в пригороде, к бывшим дачам Берии.

Здесь, в изумительно живописном месте, в бытность свою секретарем ЦК партии Грузии Лаврентий Берия построил дачи-дворцы. Они были полностью скрыты от постороннего глаза окружающими их густыми лесами. В этих роскошных, построенных из мрамора и бронзы дворцах устраивал Берия, самый верный и испытанный соратник Отца народов, свои фантастические ночные пиры. Теперь дачи были превращены в резиденции для высоких гостей. В мартовские дни 1956 года здесь отдыхал гостящий в Грузии китайский маршал Джу-Дэ.

По мере приближения демонстрантов к Крцанисскому району эхо все сильнее разносило по окрестностям крики пребывающей в экстазе молодежи: "Джу-Дэ! Джу-Дэ!"

Маршал Джу-Дэ вышел к демонстрантам. Он торжественно обещал им передать Мао их просьбу о "защите" Сталина и заверил в своей полной солидарности с ними.

Когда демонстранты оттуда снова устремились в центр города, они своим видом чем-то напоминали войско, вернувшееся с поля битвы с победой. Обещание легендарного китайского маршала, казалось, так вскружило им головы, что они, по-видимому, решили, что никто в Советском Союзе не властен ограничить их действия, совершавшиеся во имя Сталина.

Помню, к шести часам вечера я пробралась окольными путями к площади Маркса. Затем перешла мост через Куру и вышла на проспект Плеханова. Отсюда, захваченная толпой

демонстрантов, я с трудом продираюсь по направлению к Первой городской клинике, где находился мой брат Хаим в кардиологическом институте. Я приходила сюда каждый вечер после работы и проводила с ним несколько часов. Иногда здесь заставляла маму, детей или других родственников. Сегодня Хаим с утра отослал всех близких и категорически запретил приходить к нему до окончания манифестации.

Вместе с братом в большой светлой палате лежал близкий друг нашей семьи Василий Заридзе. Он один из ответственных инженеров Руставского металлургического завода. Его отца и дядю расстреляли в 1937 году. Когда их взяли, Василию было шестнадцать лет. В его памяти глубоко запали трагические события сталинских чисток. Деловой и очень вежливый, Василий в то же время всегда был замкнут и скуп на слова, и лишь с такими, как мы, он мог позволить себе быть открытым.

В этот вечер, 9 марта 1956 года, Василий и мой брат, как и почти все ходячие больные института кардиологии, несмотря на запрет врачей, находились в саду. Да и не только больные, но и сами врачи не могли усидеть в палатах и кабинетах. Они метались растерянные по этажам и коридорам. Когда я шла по аллеям кардиологического института, почти на каждом шагу останавливали меня знакомые врачи и больные, у всех на устах один и тот же вопрос: "Что делается в городе?"

Около девяти вечера брат и Василий стали настоятельно требовать, чтобы я уходила и, не задерживаясь в городе, ехала прямо домой. Они были бледны и напуганы. Проводив их до палаты, я вышла и вновь очутилась в аллее, которая вела на проспект Плеханова. И здесь, в полутемной аллее, на скамейке под густой сиренью я увидела ссутулившуюся фигуру уже очень старого профессора Сергея Павловича К. На нем был белый врачебный халат. Заметив меня, Сергей Павлович приветливо замахал рукой. Я подошла и присела рядом. Я знала, что из-за преклонного возраста он ушел из медицинского института, а в кардиологическую клинику он наведывался лишь два раза в неделю как консультант. Поэтому я была очень удивлена тем, что он находился здесь в этот Поздний час, да еще в рабочем халате!

Сергея Павловича с моим отцом связывала многолетняя дружба. В двадцатые и в начале тридцатых годов он часто бывал у нас дома. С интересом слушала я его рассказы о жизни Грузии двадцатых годов. Впоследствии никто и нигде не мог уже найти правдивых сведений об этом времени.

Еще будучи студентом Сергей Павлович активно сражался в рядах Национальной Гвардии против 11-ой русской армии, разгромившей в 1921 году Грузию и положившей конец ее независимости. Во время грузинского восстания в 1924 году среди многих тысяч лучших сынов Грузии был расстрелян и его отец-священник. В 1929 году был сослан на далекий Север и впоследствии исчез без следа его дядя, один из рьяных противников Сосо Джугашвили. В 1938 году расстреляли мужа его единственной дочери. Потом арестовали и ее, сослали в один из лагерей Казахстана, где она перед окончанием своего срока умерла от тифа.

Сергей Павлович с женой вырастили ее сыновей. Когда мать взяли, одному из них было три года, другому — год. С тех пор Сергей Павлович, как и многие, ушел в себя, замкнулся, о некоторых вещах даже боялся говорить.

А внуки его — теперь уже двадцатилетний Муртаз и восемнадцатилетний Нугзар — маршировали по улицам Тбилиси, надрывая голос, вместе с другими восхваляя Отца народов за то, что он дал им счастливое детство.

Старого профессора любили студенты и обожали больные. Неизменно благожелательный, всегда спокойный, он своим появлением в палате придавал больным бодрость. Теперь на скамейке он тихо говорил мне:

— Сегодня не сидится дома. Вот и пришел посмотреть на своих больных, — затем с какой-то горькой усмешкой добавил, — уже три дня, как Муртаз и Нугзар не приходят домой. Ночуют где-то в школе вместе с товарищами. Ты понимаешь? Могу я сидеть дома спокойно?

Старик печально улыбается, чуть покачивая белой головой, а затем медленно, но отчетливо говорит:

— Мне страшно, что дети не знают правды, и что они, возможно, никогда ее не узнают. Правду расстреляли, распилили

на куски и захоронили глубоко. Дети начали жить во лжи. Мне страшно также и оттого, что, если каким-нибудь чудом произойдет их пробуждение, это будет в то же время и их катастрофой, потому что они будут опустошены.

Он замолчал и задумался. Прошло какое-то время, пока он опомнился и озабоченно сказал: "Тебе пора домой. Ночь тревожна. Попозже обойду больных, зайду и к Хаиму".

Оставив старого профессора на скамейке, я через несколько минут снова была на грохочущем проспекте Плеханова. Там смешалась с толпой демонстрантов, направлявшихся в центр, на проспект Руставели.

Охваченные истерией участники манифестации, кажется, уже охрипли от бесконечных выкриков "Сталин! Сталин!"

Я смотрю на их лица и в который раз задаю себе вопрос: откуда берет начало все происходящее в эти дни в Тбилиси? Ведь совсем не в Грузию уходят истоки обожествления Сталина. Еще задолго до революции Сосо Джугашвили был, по существу, отвергнут своей собственной грузинской землей. Воистину предал он ее в 1921 году. Чтобы подавить всколыхнувшееся здесь движение за независимость, он организовал коварное нападение на Грузию 11-ой русской армии во главе с Орджоникидзе и Янукидзе.

В те годы грузинский народ открыто демонстрировал свое презрение к изменнику и предателю Сосо Джугашвили. Всем известно его заявление в Москве о том, что, если интересы партии и революции потребуют, он, не раздумывая, принесет в жертву Грузию.

Когда, после оккупации в 1922 году Грузии, Сталин приехал в Тбилиси и намеревался выступить перед рабочими, те набросились на него с угрозами и проклятиями, и ему пришлось спасаться бегством.

Когда, в результате его деятельности на посту Наркомнаца, грузинский народ, обманутый, ограбленный и поработанный в августе 1924 года восстал против русского господства, — он с помощью все той же русской армии потопил Грузию в крови.

Еще долго после подавления этого восстания и в народе, и в среде интеллигенции имя Сосо Джугашвили произносилось с чувством омерзения. Отсюда, вероятно, известность одного из героев романа писателя Михаила Джавахишвили "Хизаны Джако" — осетина Джако — грубого, хитрого и невежественного авантюриста и насильника, в котором многие находили сходство со Сталиным. И произносимые со сцены слова: — "так желает Джако", — воспринимались однозначно: "так желает Сосо". Тогда и в голову никому не приходило, что через десять лет Михаил Джавахишвили поплатится головой за своего Джако.

Сталин, разумеется, не мог не знать, как к нему относились в Грузии. В конце двадцатых годов здесь ходили о нем бесчисленные анекдоты, в которых он предстал грубым, невежественным и хитрым узурпатором.

Величие Сталина пришло в Грузию из Москвы. После 30-го года, когда "Правда" стала ежедневно писать о колоссальных успехах в строительстве социализма "под мудрым руководством гениального вождя и учителя", меняется отношение к Сталину и в Грузии.

Вначале смеялись. Потом стали удивляться. Но мало-помалу пропаганда делала свое дело, и народ стал гордиться грузинским происхождением Сталина. Было даже предано забвению, что он, Джугашвили, осетин. К рожденным в Москве эпитетам стали добавлять: "величайший сын грузинского народа".

Причем больше всего поклонялось Сталину молодое поколение, вышедшее на арену в тридцатых годах, поколение, выросшее в абсолютном неведении даже относительно недавнего прошлого Грузии.

Но главное, что способствовало обожествлению Сталина в Грузии, — был страх. Страх невиданный, многоликий и беспощадный. Этот страх, как бы подтверждавший слова гениального Руставели "страх создает любовь", породил великую и всеобъемлющую любовь к Сталину.

Это чувство навсегда осталось без взаимности. Сталин не полюбил ни своей родины, ни ее сыновей. Лучших из них,

наиболее блестящих и талантливых, он до конца своей жизни последовательно и планомерно истреблял. Да и своим посещением Сталин не часто радовал Грузию.

После его изгнания рабочими в 1922 году он в течение десяти лет здесь вообще не появлялся. Лишь в середине тридцатых годов однажды утром по городу пронесся слух о том, что прошлой ночью Сталин ночевал в Тбилиси.

Известие это буквально взбудоражило город, тем более, что и газеты на второй день подтвердили факт пребывания вождя в Тбилиси. Однако народ, жаждущий лицезреть свое божество, был вынужден удовлетвориться... интервью с его матерью Кекэ. Это был единственный случай упоминания имени Кекэ в прессе. Интервью, в котором она рассказала, что приготовила любимое сыном "ореховое варенье", заканчивалось словами: "всем желаю такого сына". После этого едва ли не всюду стали лихорадочно готовить "любимое Сталиным ореховое варенье".

Впрочем, это не помешало появиться в эти дни анекдоту: когда по настоятельной просьбе Кекэ ей разрешили увидеть "любящего сына", тот, увидев ее, сказал: "Вот как! Ты еще жива, Кекэ?"

А когда Кекэ умерла, Сталин, к глубокому огорчению своих восторженных почитателей, на похороны не приехал. Зато Лаврентий Берия устроил такие грандиозные похороны матери Сталина, каких едва ли могла удостоиться даже царская особа. Для "украшения" похорон Кекэ были приглашены лучшие художники и режиссеры Грузии. Похоронили ее на самом святом для грузин месте — на горе Мтацминда в пантеоне известных писателей и общественных деятелей.

Целую неделю, пока шла панихида, народ с нетерпением ждал приезда Сталина. Грузины не могли допустить мысли, чтобы сын не оплакивал мать. Потом распространился слух, что "он" появится в день похорон. Но и в день похорон Сталин не появился. Зато, как рассказывали неумные анекдотисты, прислал телеграмму, в которой он выражал Берии глубокое соболезнование по поводу смерти... своей матери.

Даже незадолго до своей смерти, путешествуя по Грузии, он почти никому не дал возможности лицезреть себя.

То в одном, то в другом городе ожидали его появления, готовились к торжественной встрече и вдруг объявляли, что он... уже проехал ночью.

И это последнее посещение Сталиным Грузии ознаменовалось новой волной арестов, последовавших вслед за его отъездом.

Но ни одно из этих "божественных деяний" не отрезвляет и не делает зрячими ослепленных людей, которые и ум, и сердце навсегда отдали тому, кому, по словам поэта, даже "утреннее солнце на поклон спешит".

...С площади Маркса попасть на проспект Руставели прямыми путями было невозможно. Я постаралась пробраться кружным путем — по улице Джорджадзе, откуда толпа людей просто вынесла меня в самый центр проспекта. Перед зданием оперного театра и театра имени Руставели толпились актеры, писатели, адвокаты, педагоги.

Я стояла в кругу друзей и вместе с ними наблюдала, как демонстранты направлялись к зданию Дома связи, где в то время находилась радиостанция. Я все более отчетливо чувствую: что-то затевается этой ночью. В гуще демонстрантов неожиданно появляются и так же неожиданно исчезают фигуры молодых людей. Они отдают какие-то таинственные распоряжения. Увеличивается нервозность.

На первый взгляд, кажется — проспект Руставели иллюминирован и ликует по случаю великого праздника. Но все больше охватывает страх перед неизвестностью.

Из толпы выныривают молодые люди и быстро, на ходу, бросают нам: "Идите на Колхозную площадь". Никто не успевает разглядеть их — кто они, или спросить — чего они хотят. Они снова молниеносно исчезают в толпе.

Было уже около одиннадцати часов, когда вместе с друзьями я покинула проспект Руставели и по Пушкинской улице спустилась на Колхозную площадь. Здесь толпа смешалась в панике. Родители искали детей, брат — брата, распрашивали знакомых о своих близких.

В центре небольшой площади была сооружена импровизированная трибуна. Сменяя друг друга, выступали какие-то молодые люди, лица которых в темноте невозможно было разобрать. Они кричали очень громко, но их не было слышно из-за всеобщего гвалта. Где-то запели давно запрещенный грузинский национальный гимн. Какие-то лица в гражданском пытались помешать. Поющих поддерживали из толпы, и завязались местные стычки. Неожиданно на месте стычек появились неизвестные с повязками, и пение гимна продолжалось.

Без сомнения, становилось опасно находиться на площади, где начались "представления" по не известному властям сценарию.

Как только я попыталась выйти из толпы, с воздуха, развеяясь по ветру, посыпались листовки. От неожиданности люди растерялись. Некоторые в испуге шарахались от листовок. Другие, наоборот, пытались поймать их еще в воздухе. Один из моих друзей тоже успел схватить одну из прокламаций, однако, мы не успели целиком прочесть ее. Неизвестно откуда возникшие вдруг блюстители порядка стали вырывать их из рук. Я помню лишь, что один из пунктов прокламации содержал призыв о выходе Грузии из состава Советского Союза. Причем в обоснование своего требования авторы ссылались на Великую Сталинскую Конституцию.

Не оставалось сомнения, что где-то на глубине волнуемого моря манифестации действует другая сила, не имеющая никакого отношения к сталинскому карнавалу.

И сегодня еще остается похороненным в анналах КГБ — какая именно сила действовала в те дни, кто были эти люди, однако, было очевидно, что речь теперь шла уже не о защите погранного имени Сталина, а, скорее, о защите попираемых Москвой национальных чувств грузинского народа. И в этом смысле "сталинские манифестации" были не более, чем форма протеста, имевшего глубокие национальные истоки.

По-видимому, эту новую политическую окраску почувствовали и люди, находившиеся на площади.

В какой-то момент толпа дрогнула, смешалась, люди стали беспорядочно убегать во все стороны. Образовалась давка, мешавшая организованному движению демонстрантов, которые все быстрее шли к Колхозной площади, чтобы от туда направиться к Дому связи, где поздно вечером концентрировались "особые части" демонстрантов.

На площади Ленина я рассталась с друзьями и через одну из магистральных улиц — улицу Леселидзе — направилась домой. Справа и слева, по всем боковым улицам и переулкам без оглядки бежали люди. Они бежали из центральной части города.

На площади, где я жила, группами стояли жильцы нашего и соседних домов. Некоторые из мужчин порывались идти в центр, но жены удерживали их.

Не помню, было это через час, или два, но воздух неожиданно потряс грохот проезжающих где-то неподалеку тяжелых бронетранспортеров. А затем, спустя считанные минуты, до нас донеслись отдаленные приглушенные выстрелы.

Потрясенные, мы поторопились укрыться в доме. Уже на рассвете утренний Тбилиси представлял собой полный контраст вечернему. Из ликующего и поющего он превратился в рыдающий, негодующий и проклинаящий город. События, происшедшие ночью на проспекте Руставели, будто вдруг целиком выключили из сознания людей страх, и теперь люди открыто изливали свой гнев, возмущение и скорбь.

Эта ночь внесла в историю Грузии одну из самых трагических страниц. В народе ее называли "танки против детей". Именно этой ночью на Колхозной площади и проспекте Руставели были расстреляны и раздавлены танками около трехсот детей и юношей, вооруженных пионерскими галстуками и портретами Мудрейшего из Отцов.

В подвалы КГБ были брошены десятки и сотни наивных юношей.

На исходе этой ночи жители Тбилиси были страшны в своей священной скорби. Они бросились к зданиям ЦК партии Грузии, МВД, КГБ с проклятиями и угрозами в

адрес Мжаванадзе, Никиты Хрущева, Георгия Жукова и коменданта города. Невозможно было смотреть на разъяренных и обезумевших матерей и сестер убитых и раненых детей.

Не было в тот день в городе человека, который не содрогнулся от расправы над детьми. Разум отказывался понять чудовищность и бессмысленность ночного кровопролития на проспекте Руставели. Как заклинание о мести уста обезумевших людей произносили три слова: "танки против детей!"

Разумеется, народ не узнал всей правды о виновниках трагедии. Но, в основном, все же стало известно, кто и какую роль играл в эту кровавую ночь.

Близкий друг и ставленник Хрущева, Первый секретарь ЦК партии Грузии Василий Мжаванадзе подробно и обстоятельно докладывал ему о происходящем в Тбилиси.

По мере роста демонстрации в Тбилиси росло возмущение Хрущева в Москве. Когда же Мжаванадзе в ночь с девятого на десятое марта доложил, что демонстранты окружили Дом связи и пытаются овладеть радиостанцией, разъяренный Хрущев немедленно распорядился разбомбить Тбилиси. По его указанию, министр обороны Георгий Жуков приказал командующему Тбилисским гарнизоном разбомбить город и расстрелять демонстрантов.

Приказ Жукова командующий гарнизоном выполнил частично. Город бомбить он отказался. Зато против демонстрантов вывел восьмой полк, известный в Тбилиси своей жестокостью. Этот полк был дислоцирован в отдаленном от центра районе — Навлуги. Он был целиком укомплектован из солдат, выросших в колониях и детских домах разных городов России.

После полуночи, вооруженный танками, этот полк был направлен в центр города и неожиданно, без всяких предупреждений, его солдаты стали в упор расстреливать школьников и студентов.

Когда рано утром я направилась в центр города, места расстрела еще были оцеплены, хотя убитых и раненых уже успели убрать. Я проходила мимо зданий МВД и КГБ и сама видела обезумевшие лица друзей и родственников погиб-

ших, они готовы были смести эти здания с лица земли. И всюду, где только мне ни пришлось быть в это утро, я слышала три этих слова: "танки против детей".

В следственной части Прокуратуры Республики следователи и прокуроры стараются так оформлять "дела" арестованных юношей, чтобы максимально облегчить их участь.

Как и в другие больницы и клиники, в кардиологический институт, где лежал мой брат, всю ночь привозили убитых и раненых. Больные были свидетелями, как многих из убитых студентов (из районов республики) поспешно "упаковывали" и в сопровождении работников КГБ тайком отправляли домой. От усталости и переживаний врачи падали с ног. Группа старых врачей хлопотала вокруг Сергея Павловича. На рассвете, когда он узнал, что его старший внук Муртаз арестован и находится в тюрьме КГБ, старого профессора разбил паралич, и теперь он лежал без сознания.

Так завершилась демонстрация в честь "Мудрого Отца и Гения всех народов".

Даже после смерти, "прошестввав" в последний раз по улицам обожавшего его Тбилиси, он оставил на своем пути сотни окровавленных детских трупов.

**YMCA-PRESS** 11, rue de la Montagne Sainte-Genève — 75005 PARIS

ТОЛЬКО ПО ПОДПИСКЕ ■ В твердом коленкоровом переплете

## Собрание сочинений Александра Солженицына

на русском языке

Включены все подлинные донизурные тексты, заново проверенные и исправленные автором; включены ранее непечатавшиеся произведения.

Содержание первых девяти томов:

**ТОМ 1, 2 В КРУГЕ ПЕРВОМ** (Впервые печатается никогда не ходивший в Самизд-длинный исходный текст и сюжет, 96 глав.)

**ТОМ 3 РАССКАЗЫ** (Один день Ивана Денисовича, Матренин двор, Кр. Правая кисть, Случай на станции Кречетовка, Для пользы дела Калита, Как жаль..., Пасхальный крестный ход.)

**ТОМ 4 РАКОВЫЙ КОРПУС** (окончательная редакция)

**ТОМ 5, 6, 7 АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ** (с уточнениями и добавлениями)

**ТОМ 8 ПЬЕСЫ И КИНОСЦЕНАРИИ** (Пьесы «Пир победителей» и «Декабристы без д. Киносценарии «Знают истину танки» и «Тупеядец» — печатаются в «Республика труда» — подлинный и полный текст пьесы, известно зурном варианте под названием «Олень и шалаповка». «Свеча на

**ТОМ 9 ПУБЛИЦИСТИКА** (Статьи, открытые письма, речи, интервью.)

В последующих томах Собрания печатается историческое повествование «КРАСНОЕ КОЛЕСО»: Том 10, 11: «Август Четырнадцатого» — Том 12, 13: «Октябрь Шестнадцатого» — Том 14, 15, 16, 17: «Семнадцатого» — Том 18: «Апрель Семнадцатого».

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ДО 30-го ОКТЯБРЯ 1978 г. НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:

На первые девять томов (издание будет осуществлено с осени 1978 по весну 1981)	540 фр.	Или на первые четыре тома (выйдут осенью 1978 и весной 1979) + за пересылку (простой почтой)
+ за пересылку (простой почтой)	60 фр.	
	600 фр.	

Подписка принимается только Издательством ИМКА-ПРЕСС. Деньги просим высылать вместе с Университеты и библиотеки могут производить расчеты по получении первых книг.

## Заказ

Прошу подписать меня:

На первые девять томов Собрания Сочинений А. Солженицына

На первые четыре тома Собрания Сочинений А. Солженицына

ФАМИЛИЯ: .....

АДРЕС: .....

Дата: ..... Подпись: .....

♦ прилагаю чек на имя YMCA-PRESS в .....



## ЛЕВ СЫРКИН В МОСКВЕ И В ИЗРАИЛЕ

До сих пор в наших вернисажах говорилось о молодых художниках из России, талант которых развился уже за границей, или о художниках ион-конформистах, не получивших официального признания в СССР. Но Советский Союз покинули и некоторые мастера, которые внесли свой вклад в развитие советского изобразительного искусства.

К таким относится Лев Сыркин, монументалист, сделавший блестящую карьеру в российском художественном мире.

Работы Сыркина украшают фойе дворцов культуры, театров и санаториев. Им сделаны интерьеры нескольких московских ресторанов, в том числе "Узбекистана" и "Зимнего сада" в гостинице "Москва".

Жизнь монументалиста сложнее, чем жизнь станкового живописца. В Советском Союзе он не может работать вне рамок государства, ибо его замыслы и творческие задачи реализуемы лишь в единстве с архитектурой. В каком-то смысле Сыркин бежал из золотой клетки, хотя уехать ему, наверное, было тяжелее, чем многим художникам. В России остались десятки его монументальных работ — фрески и мозаики не запакуешь в чемодан и не передашь на Запад с иностранными журналистами.

Я, впрочем, не хотела бы создать ложное впечатление, что Сыркин прославлял советскую действительность в стиле соцреализма. Отнюдь

нет. Он создал множество талантливых декоративных работ. Он занимался реставрацией памятников старины, в частности, восстановлением интерьера Большого дворца в Царском Селе. Его единственная "идеологическая" работа — гигантское панно на кинотеатре "Октябрь" в Москве, созданное совместно с ведущими монументалистами — Васнецовым, Элькониным, Андроновым.

Но были темы и сюжеты, которые особенно волновали художника. Однако, реализация их в России была столь же немыслима, как, скажем, показ фильма "Экзодус" или диспут об "Архипелаге ГУЛАг" во Дворце культуры ЗИЛ.

Ему, несомненно, сопутствует уникальный для художника-иммигранта творческий успех. За пять лет он создал десять монументальных работ и даже, пожалуй, внес новый своеобразный элемент в израильское градостроительство и архитектуру.

Его первая работа — интерьер ресторана "Грузия", открытого грузинскими репатриантами неподалеку от знаменитого отеля "Царь Давид" в Иерусалиме. Художник рассказывает, что ему пришлось прочитать все доступные книги по истории, культуре и искусству грузинских евреев. Проявился и его давний интерес к восточному орнаментализму, родившийся еще во время его учебы в Строгановском училище. И вместе с тем, в этой работе нет ни одного элемента, просто скопированного у народных мастеров. Это все — фантазия художника, попытка мышления в рамках грузинско-еврейской символики. Символика сочетается с современной техникой росписи (синтетическая темпера) и современными способами "организации пространства", которыми Сыркин превосходно владеет. В зале доминирует сочная гамма цветов: оранжевый, коричневый, желтый и небольшие пятна зеленого. Интерьер принес грузинскому ресторану не меньшую славу, чем его кухня. Рассказывают, что Киссинджер, приезжая в Иерусалим "по служебным делам", любил ужинать в "Грузии".

Одна из работ Сыркина — большая мозаика (5 x 15м) на белом каменном фасаде телефонной станции на дороге в Вифлеем. Мозаике сопутствует эпитафия: "Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знаменем завета между Мною и между Землею". (Бытие, 9. 13). Центральный элемент мозаики — радуга, разумеется, ее захлестывают волны небесные — голубовато-лиловые и земные — кирпичные, желтые, травянисто-зеленые. Это — идея всеобъемлющей связи, связи Бога и Человека, Неба и Земли, неведомых космических миров, людей друг с другом. Но важнее, чем символика мозаики, ее функция. Сыркин, кажется, первым показал, как можно смягчить залитый слепящим светом город, его каменные холмы и здания, облицованные белым или песочного цвета иерусалимским камнем.

Тема преодоления хаоса созиданием очень важна для художника. Надпись над мозаикой на школьной стене в новом квартале Иерусалима

ма Неве Яков гласит: "Вначале сотворил Бог Небо и Землю". Центральным элементом керамического панно — большой красный круг, переливающийся магмой, — изначальный хаос мироздания, из которого выплывает Земля. По замыслу Сыркина, именно такова роль школы — формировать в человеке личность. (Другой вопрос, насколько отвечает израильская школа такому назначению!)

Еще одна излюбленная линия художника — обращение к еврейским традициям, связь с прошлым, возрождение и память. Его мозаика в иерусалимской школе Неве Эцион посвящена памяти 35 юношей, погибших в Войне за независимость. Левая сторона мозаики — менора, древо жизни, разделенное вдоль ствола на две половины — одна в огне, другая, выполненная в нежной гамме розового и аквамарина, зеленеет тридцатью пятью молодыми листьями. Правая часть мозаики — драматическое цветочное развитие той же темы, которое легче передать музыкой, чем словами.

Художнику принадлежат мозаики в старинной сефардской синагоге в Рамат-Гане, в школе небольшого городка Явне, центре еврейской мысли после разрушения Храма. Он также выполнил рельефы в главной аудитории Бар-Иланского университета в Рамат-Гане, создав оригинальные символы двенадцати колен Израиля, и в Израильском обществе моделей, используя мотивы древних монет Иудеи и современных медалей для рассказа о еврейской истории.

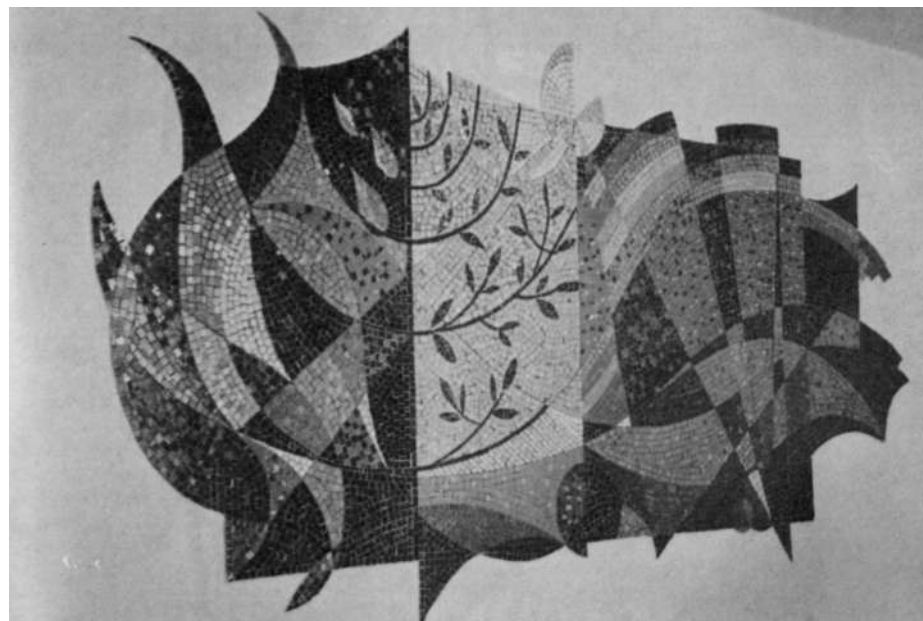
Сыркин не только монументалист. Он постоянно и много рисует. В Союзе рисунок был для него важным средством самовыражения. Это была его работа для души, не подвластная требованиям законодателей искусства. Он создал, например, галерею типажей советских людей. Это и стерва — секретарь райкома, и прожженный официант ресторана, и еврей-интеллектуал, и десятки других.

Война Судного дня послужила для художника темой первого альбома графики. Шестнадцать дней войны — шестнадцать рисунков, пронизанных библейскими ассоциациями, полных сатиры, ужаса, фантазии. Один из рисунков альбома показывает чудовище войны, огромные кривые зубы которого перемалывают крошечных человечков. Ад выплеснулся наружу. Где-то по углам молятся люди с пейзажами, но в центре на голые тела нацеплено фантастическое орудие, из-под которого выдвигаются жала. Пляшет сатана с кнутом. А прямо напротив арабских жал — лицо жены художника, и сзади, вцепившись в ее волосы, плачет ребенок.

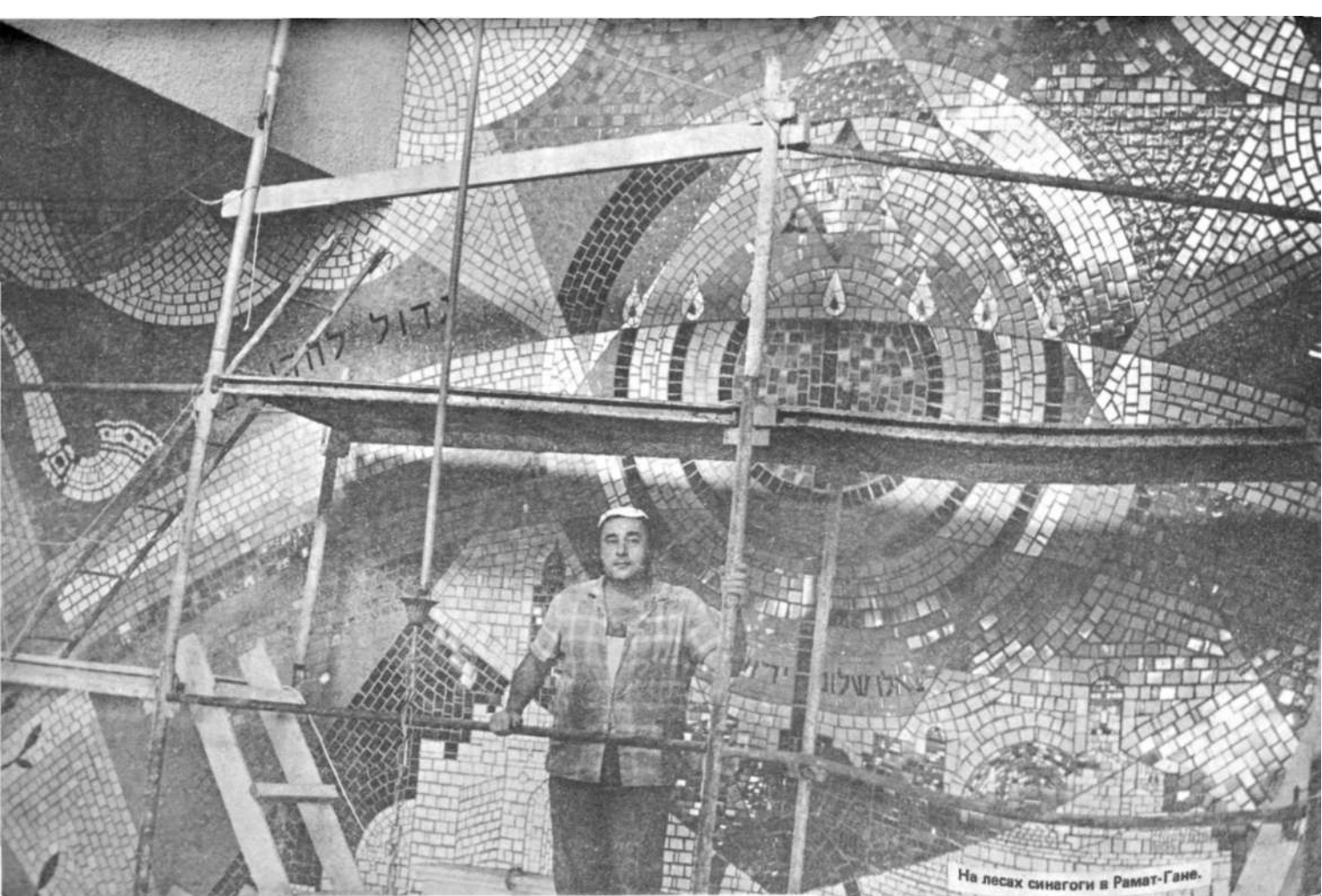
Значит ли, что у художника Сыркина нет проблем в Израиле? Проблемы, разумеется, есть. В Советском Союзе признанный мастер гарантирован и заказами, и высокими заработками. В Израиле же монументальная живопись, которая, зачастую, преображает и сами здания, и окружающий пейзаж, пока не оценена в достаточной мере. Соответственно, выполнение работ, требующих тяжелого труда и за-

трат дорогих материалов, недостаточно оплачивается. Более того, даже тогда, когда фреска или мозаика "просится" на здание, проектировщики не готовы пойти на дополнительные затраты. Должны пройти еще годы, пока общество в полной мере оценит то новое измерение, которое вносит в архитектуру монументальная живопись. А пока будут еще впереди трудные времена. Так стоило ли покидать устроенную жизнь советского художника? Работы Сыркина в Израиле однозначно отвечают на этот вопрос.

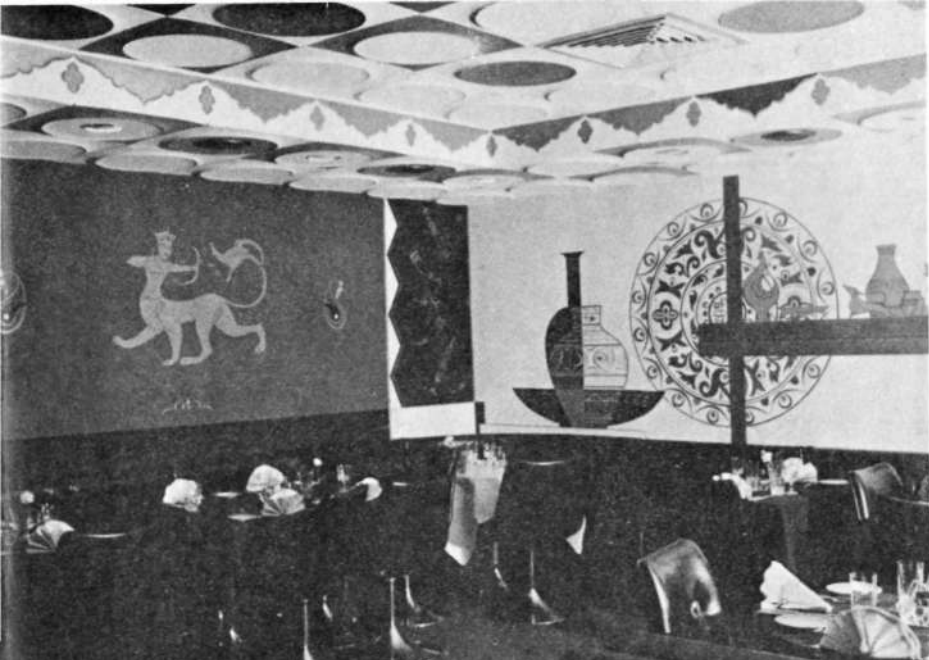
*Галина КЕЛЛЕРМАН*



Мозаика в школе Неве-Эцион.



На лесах синагоги в Рамат-Гане.



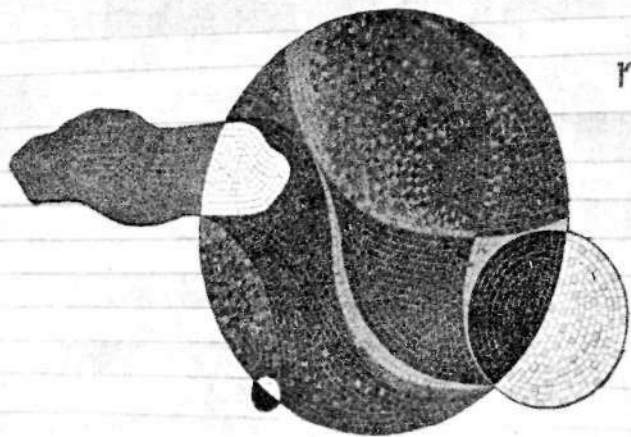
Интерьер ресторана "Грузия".



Мозаика на дороге в Вифлеем.



בראשית ברא אלהים  
את השמים ואת הארץ



## **В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ":**

Людмила Штерн "Двенадцать коллегий" (сатирическая повесть о жизни Ленинградского отделения Академии Наук). Лев Ларский "Здравствуй, страна героев!" (Из мемуаров ротного придурка. Продолжение). Дора Штурман "Последний год жизни Ленина" (о политических интригах в советском руководстве после ухода Ленина от дел). Нафтали Прат "Сионизм и демократическое движение". Лев Копелев "От рода к человечеству" (размышления публициста о книге Гарольда Айзакса "Идолы рода" об этническом сознании человека). Елена Клепикова "У погоста русской деревни" (парадоксы творчества Федора Абрамова). Владимир Соловьев "Мания правдоискательства Василия Шукшина". Владимир Вишняк "Несговорщик с антикультурой" (размышления о книге Эткинда "Записки незаговорщика"). Петр Вайль и Александр Генис "На аврале" (советская проза между Самиздатом и Союзом писателей). "Зарисовки на полях рукописи" (живопись Томаса Манна, Гойи, Гофмана, Теккерея, Виктора Гюго, Пруста).

## КО ВСЕМ ПОДПИСЧИКАМ И ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ"

*Редакция и Правление Фонда журнала "Время и Мы" обращается ко всем подписчикам и читателям в Израиле и за границей, ко всем библиотекам и университетам с просьбой внести посильный вклад в Фонд друзей журнала.*

*Журнал "Время и Мы" является независимым и не-субсидируемым изданием. Свою задачу редакция видит в том, чтобы способствовать развитию русской литературы за пределами Советского Союза, публиковать на своих страницах лучшие произведения русскоязычных писателей, живущих в Израиле, странах Запада и в России. Средства Фонда будут способствовать дальнейшему развитию журнала, они помогут редакции постоянно выплачивать гонорар авторам, установить связи с русским и еврейским Самиздатом России.*

*Взносы просим направлять по адресу редакции: ул.Нахмани 62, Тель-Авив. "TIME AND WE".*

*Или на банковский счет журнала:*

**Israel Oiscont Bank L.T.D., branch Akirja account 140317.**

*Редакция приносит глубокую благодарность израильским подписчикам журнала, откликнувшимся на просьбу редакции: Бейнгольцу, Гендлер, Гере, Дорону, Каминскому, Минкину, Мицнер, Натковичу, Орловскому, Перецману, Фурман и другим.*

## КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

**Фаина БААЗОВА.** Юрист и историк. Родилась в городе Они (Грузия) в семье выдающегося деятеля сионистского движения раввина Давида Баазова. Окончила юридический факультет Государственного Университета. По окончании Университета работала в Государственном этнографическом музее евреев Грузии и одновременно — в коллегии адвокатов. В 1938 году переехала в Ленинград, продолжая работать в коллегии адвокатов и в то же время становится сотрудником Ленинградского этнографического музея Академии наук СССР. В годы войны возвратилась в Тбилиси. В Израиль репатриировалась в 1973 году.

**Марина ГЛАЗОВА.** Филолог по образованию, поэт и переводчик. В эмиграции с 1972 года. Живет в Соединенных Штатах. Печаталась в журналах "Континент", "Время и Мы" и других зарубежных журналах.

**Лев ЛАРСКИЙ.** См. журнал № 29.

**Лев МЕЛАМИД.** Родился в 1944 году. До 1974 года жил в Москве. Окончил Московский государственный университет имени М. Ломоносова. В настоящее время живет в Иерусалиме.

**Михаил МОРГУЛИС.** Писатель. Родился в 1941 году. Окончил Киевский речной техникум, а затем Ленинградский институт инженеров водного транспорта (ЛИИВТ). После этого стал работать инженером в одном из проектных институтов. В 1971 году был принят в Киевский комитет драматургов Союза писателей Украины. Публиковал статьи и рассказы в периодической прессе. В 1972 году получил первую литературную премию на конкурсе Министерства культуры и Союза писателей Украины. В 1977 году эмигрировал в Америку. В настоящее время живет в Нью-Йорке.

**Евгений ЦВЕТКОВ.** См. журнал № 29.



Дора ШТУРМАН. Филолог и историк. Родилась в 1923 году на Украине. В 1944 году была осуждена на пять лет за исследование творчества нескольких советских поэтов, связанное с рассмотрением некоторых сторон советской действительности. После освобождения закончила университет и преподавала русский язык и литературу. Одновременно продолжала заниматься исследованиями ряда фундаментальных проблем советского строя. В настоящее время работает в Иерусалимском Университете. В Израиле — с начала 1977 года.

Ефим ЭТКИНД. Писатель и критик. Родился в 1918 году. Окончил Ленинградский университет. Участвовал в войне против гитлеровской Германии на Карельском и Третьем Украинском фронтах. Затем преподавал в ленинградских ВУЗах. С 1952 по 1974 год — доцент, а затем профессор Ленинградского педагогического института им. Герцена. Уволенный с работы и лишенный ученых степеней и званий Ефим Эткинд вынужден был в октябре 1974 года эмигрировать из России. Ныне — профессор Десятого Парижского университета (Нантер).



ИЗДАТЕЛЬСТВО

# ВРЕМЯ и МЫ

*принимает заказы на все виды типографско-издательских работ: издание книг, альбомов, брошюр, рекламных проспектов, выполнение художественно-оформительских и фоторабот.*

*Заказы принимаются как от израильских, так и зарубежных издательств и фирм, выполняются на русском и английском языках и по значительно более дешевым, чем за границей, ценам.*

*Наряду с этим издательство "Время и мы" осуществляет для израильских и зарубежных фирм переводы с английского и немецкого языков на русский, а также с иврита на русский и с русского на иврит.*

*Выполняются заказы на машинописные работы на русском и английском языках, на редактирование и корректуру рукописей. Принимаются также от израильских и зарубежных фирм все виды объявлений и коммерческой рекламы.*

*В журнале "Время и мы" бесплатно публикуется реклама книг, выпускаемых издательством. Наряду с этим издательство принимает на себя работу по распространению этих книг в Израиле и за рубежом.*



## ЖУРНАЛ "ЭХО"

Вышел в Париже и продается

*второй расширенный номер ежеквартального литературного журнала "Эхо". Журнал редактируется В. Марамзиным и А. Хвостенко и посвящен современному литературному процессу в России.*

*Номер открывает фотография поэта И. Бродского и художника О. Целкова на венецианском Бьеннале и поздравление Бродскому по поводу присвоения ему степени доктора литературы Йельского университета.*

*Основа номера — повесть ленинградского писателя Бориса Вахтина "Одна абсолютно счастливая деревня". Почти весь номер составляют также рукописи из России, из самиздата: рассказ Генриха Шефа "Митина оглядка", большая подборка стихов Владимира Уфлянда, стихи Елены Шварц из самиздатского журнала "37", публикация самой значительной поэмы Александра Введенского "Кругом возможен Бог" со статьей Михаила Мейлаха.*

*Читайте, кроме того, рассказы Давида Дара и Сергея Юрьенена, стихи Леонида Ентина, статью Иосифа Бродского о поэте Константине Кавафисе с переводами из Кавафиса А. Лосева, письмо Брежневу Г. Вишневской и М. Ростроповича и др. материалы.*

**Продается во всех русских магазинах. Цена этого номера 20 франков.**

**Только в Европе: Условия подписки в редакции — 60 франков (4 номера).**

**Адрес редакции: "Echo" с/о V. Maramzine, 302 rue des Pyrenees, 75020 Paris.**

'ВРЕМЯ и МЫ

1978 год.

### УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ В ИЗРАИЛЕ:

*Сроком на 6 месяцев - 234 лиры*

*на 12 месяцев — 432 лиры*

### УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ ЗА РУБЕЖОМ

#### *В США И КАНАДЕ*

*сроком на 6 месяцев — \$ 19.60 (авиапочта — 37.50)*

*на 12 месяцев — 39.20 (авиапочта — 75.00)*

*Цена номера в открытой продаже — \$ 4.5*

#### *ВО ФРАНЦИИ*

*сроком на 6 месяцев — F.FR.92 (авиапочте - 155)*

*на 12 месяцев — 184 (авиапочта - 310)*

*Цена номера в открытой продаже — F.FR. — 23*

#### *В ГЕРМАНИИ*

*сроком на 6 месяцев — DM 46 (авиапочта — 88)*

*на 12 месяцев — 92 (авиапочта — 176)*

*Цена номера в открытой продаже — DM — 11*

**бланк для ПОДПИСКИ на 1978 год на обороте**

"ВРЕМЯ и МЫ" - 1978 год.

ПОДПИСКА В ИЗРАИЛЕ НА 1978 год

Сроком на 6 месяцев  
на 12 месяцев

Журнал высылать с номера.....

Журнал высылать по адресу.....

Приложен чек.....

Подпись..... Дата.....

\* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" —  
можно по-русски — и высылается по адресу:  
**P.O.B. 24123, Tel-Aviv или 62/9 Nachmani St., Tel-Aviv**

ПОДПИСКА ЗА ГРАНИЦЕЙ НА 1978 ГОД

Авиапочтой **сроком на 6 месяцев**  
Обыкновенной почтой **на 12 месяцев**  
Журнал высылать с номера.....

Журнал высылать по адресу:.....

Приложен чек.....

Подпись..... Дата.....

\* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — мож-  
но по-русски — и высылается по адресу: **P.O.B. 24123,**  
**Tel-Aviv, Israel или 62/9 Nachmani St., Tel-Aviv**



## ВАМ ВЫГОДНО ВЛОЖИТЬ ИХ В «КОАХ ХАЙ КИФЛАИМ»

Если у вас есть облигации займа абсорбции и облигации займа «Брейра», выкуп которых начинается 1 апреля, то вам стоит зайти в ближайшее отделение банка «Леуми» и вложить эти облигации на счет «Коах хай кифлам».  
На этот счет вы можете внести до 36.000 лир и пользоваться следующими льготами:  
Немедленный бснус в 10% — до 3600 лир.

Полное прикрепление вклада и бонуса к индексу цен\*.  
Накопительные проценты.  
Освобождение от налогов.  
Дополнительные подробности во всех отделениях банка «Леуми», банка «Игуд» и банка «Арави Исраэли».  
\* Если ваши сбережения будут лежать в течение шести лет.

ВАШ ДОБРЫЙ СОВЕТЧИК  
**BANK LEUMI**  
LE-ISRAEL B.M.

\* Облигации займа абсорбции и займа «Брейра» будут выкупаться с 1 апреля.

**Зав. редакцией и корректор Марина Голубева**  
**Художник Лев Ларский**

Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по поводу них редакция в переписку не вступает.

Издательство "Время и мы", Тель-Авив, ул. Нахмани, 62/9  
п.я. 24123, Тель-Авив, 621085.  
**62/9 Nachmani st. T.-A. Tel. 621085.**

Типография "Дерби". Улица Амавдиль, 6. Т.—А.

OCR и вычитка - Давид Титиевский, март 2010 г.  
Библиотека Александра Белоусенко

**На четвертой странице обложки — работа художника Льва Сыркина из серии "100 лиц России".**

